

Петр Долинин, Федор Долинин

Жила - была Егорьевка - страна моего детства



ПРЕДИСЛОВИЕ



Собрался было написать небольшой очерк по истории своей исчезнувшей деревушки Ново-Егорьевке, чтобы дети и внуки знали, откуда мы взялись такие. Оказалось, одного желания для этого маловато. Нужны точные сведения по различным аспектам деревенской жизни и факты, подтвержденные документами, которые, собственно, и составляют любую историю. Они, как известно, находятся не под рукой, а хранятся, если хранятся, в архивных толщах республики. Для работы с архивом и исследовательской работы, к сожалению, нет времени.

Обратился с письмами к бывшим егорьевцам, к их живой памяти. На мою просьбу мало кто откликнулся. Кому больно охота память ворошить? Но думаю, не только по причине лени не ответили. Было бы там чего хорошего в прошлой Егорьевке. А то так, одни серые будни, сплошная борьба за выживание. Нет, были, конечно, и праздники, но их всё-таки заслоняли нужда, работа с утра до ночи. А о своём личном, пусть даже ярком и полном драматизма, люди не привыкли рассказывать всему миру. Это у каждого своё. С каждым оно и останется. Примерно так размышляют про себя мои бывшие односельчане. Всё-таки я их немного знаю.

Только Николай Фёдорович Растатурин, спасибо ему, не поспешил на воспоминания. Но с историей деревни всё равно ничего не получилось. Вместо истории вспомнил я кое-что из своей детской жизни в Егорьевке и, не мудрствуя лукаво, не приукрашивая, записал всё как было, как помню. Что из этого получилось? Не мне судить.

П. К. Долинин

ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЕЛ ИВАН ДОЛИНИН?

После отмены крепостного права прадед Яким Васильевич (1830-1902 г.г) в поисках лучшей жизни из Воронежской губернии переселился с семьёй на новые земли в Казанскую губернию, в деревушку Шерламу Альметьевского уезда. Было у него четыре сына. Игнатий (1857-1915гг), Евдоким, Илья и Иван.

У деда родного Игнатия Якимовича и бабки Июни Андреяновны, в девичестве Купцовой, было пять сыновей и две дочери. Перечислю по возрасту: Татьяна - 1882, Кирилл -1888, Евдокия -1890, Семён -1892, Александр -1894, Гавриил -1908 года рождения. По этой ветви род Долининых было суждено продолжить Кириллу, Семёну и Гавриилу.

Заглядывая в обозримое прошлое крестьян Долининых, я назвал прадеда Якима Васильевича. Остаётся назвать прапрадеда Василия Ивановича и прапрапрадеда Ивана Долинина. Но это уже за горизонтом моей семейной памяти, это восемнадцатый век, времена Екатерины Великой. Кто был до Ивана? Вопрос открытый. Было бы интересно развеять дымку времени, полистать архивы Воронежской губернии прошлых веков, узнать бы, откуда есть пошёл Иван Долинин, какими заботами жил, о чём думал? Да вряд ли простой крестьянин оставил о себе какие-либо сведения. Ведь может быть и так: прожил Иван свой век, ни прошений, ни жалоб не писал, и писать не умел. Писарь же всю его жизнь фамилией в реестре крепостных душ помещика такого-то в одну строчку уместил. Много ли почерпнёшь из такой архивной строки?

Простые смертные, из себе подобных, могут хранить в памяти только тех, чьё видели лицо, чей слышали голос, то есть предков одного-двух поколений. Это горизонт человеческой памяти, применительно к семье семейной памяти. За горизонтом неведомые нам пласты забытых предков. Там свалка отходов человеческой истории, на которой вскоре окажется и наше поколение.

Вернёмся к деду. Дед Игнатий переселился в Егорьевку в 1894 году. Отцу тогда было шесть лет. Он переселение хорошо помнил. Причиной его был конфликт.

Дед по натуре горячий человек и страшно не терпел несправедливости. В Шерламе он пас мирское стадо. По-русски сказать - пастух. Но мы сейчас живём в такое время, когда во всем обезьянничаем под американцев, чей образ жизни вдруг разглядели и приняли за образец, достойный для подражания. Отдавая дань моде, я

бы назвал деда "ковбоем". К нему это больше подходит. Престиж пастуха на Руси испокон веку был не очень высок. "Куда Макар телят не гонял", "тебе только паршивых коз пасти", "я бы тебе и свиней пасти не доверил", - любил повторять мой командир взвода, когда отчитывал незадачливого солдата за неумелые действия. Разве он один? Так уж на Руси повелось, что скот пасти - последнее дело, которое вроде бы и дураку под силу. Пастух и есть пастух.

Иное дело ковбой. Сколько в этом иноземном слове свободы, вольного ветра, романтики! В американской литературе с ним связаны удивительные приключения, достойные настоящего мужчины. Вот я и говорю, что дед Игнатий по сути и по духу был ковбоем. А что по виду? Лапти на ногах, на плечах зипун в заплатках, на голове старенький треух, в грубой руке кнут, а на лице лохматая задиристая бородёнка.

Однажды приехал к нему на выгон староста. Кряжистый, от злости красномордый. С ходу, без разбора, что про что, обрушился на него с бранью, подступился вплотную и, как водилось в те времена, ударил деда кулаком по лицу. Применяя способ укрепления своей власти кулаком, староста и мысли не допускал, что получит отпор. Как всегда в таких случаях, он готов был увидеть повинную голову, жест молящего о помиловании, услышать лепет оправдания, но не отпор. Потому всё, что произошло в следующее мгновение, было для старосты неожиданностью. Дед ловко отскочил, привычным движением откинул кнут назад и со всего размаху разрядил крутую волну арапника на физиономию старосты. Тот явно струсил, от боли завизжал, как ужаленный, и бросился бежать к своей повозке. Дед вдогонку ещё раз два опоясал его.

Кончилось тем, что деду в деревне житья не стало. Воевать со старостой, что на луну плевать. Вот и решил он тогда от греха подальше уехать на новые земли, в Новую Егорьевку.

Поставил дом в Левашовке, надел земли получил, скотина и птица были: две лошади, корова, овцы, гуси, куры. Всё, как у людей. Пахал дед, сеял, жал, молотил. Семья продолжала расти. Это нынешнее племя до зубов вооружено против деторождения. Тогда размножались под естественный отбор, абсолютно беззащитные, по темноте своей перед природой. Ртов было много, а урожай ржи, полбы, пшеницы в засушливые годы был настолько скудным, что его еле-еле хватало на прокорм до весны.

Бедно жили. До того доходило: запрягал дед кобылку, брал с собой Дуняшку с Кирюшкой и отправлялся за реку Ик в урожайные

сёла милостыню собирать. Пройдёт по дворам с поклоном, расскажет людям, какая беда его постигла. Кто муки, кто зерна, кто крупы даст. Смотришь, возок и набрали. Унизительно, конечно, да что делать? С голоду умирать? Неохота. Ради детей шли на это.

Отец матери, дед Маркел Самознаев, переехал с семьёй в Егорьевку тоже из Шерламы несколько позже деда Игнатия. Мать, а мы, дети, с лёгкой руки бабушки Юни звали её мамока, родилась 26 августа 1893 года.

В Егорьевке Самознаевы жили тоже на улице Левашовки, напротив Долининых. Семья у них была огромная и состояла в основном из одних девчонок, которых и за крестьянскую душу не считали. Так тётя Даша, которой нынче исполнилось девяносто лет, была в семье девятнадцатым ребёнком. Теперь из семьи деда Самознаева она одна осталась в живых. Многие умерли в детстве. На моей же памяти жили-были только четыре сестры: тётя Дуня, тётя Катя, мать, и вот самая младшая - тётя Даша.

В девушках мать любила петь песни, плясать, водить хороводы, участвовать в посиделках с рукодельем и играми. Была она ловкая и физически сильная. Никто из сверстниц не мог обогнать её, когда бегали наперегонки. Позднее, будучи многодетной матерью, свободно по крутой мельничной лестнице она заносила четырехпудовые мешки, а на колхозной стрижке овец за день ручными ножницами успевала постричь 18-20 голов. В этом ей не было равных.

Подростком, я часто поражался: как быстро и неумоимо может работать мамока. На огороде она одна могла прополоть и окучить полгектара картошки за два-три дня. Работа в её руках спорилась. В лесу, пока я собирал лукошко ягод, около трёх литров, она успевала набрать десятилитровое ведро.

Мать была человеком высокой крестьянской культуры, нравственности и огромного трудолюбия. Грамотки у неё было три класса церковно-приходской школы, но она могла не только считать, читать и писать, что было в то время тоже редкостью, но и имела знания для осмысленного, толкового ведения крестьянского хозяйства. И не только приусадебного. Несколько предвоенных лет она работала звеньевой на колхозном огороде. Хорошо разбиралась в медицине, ветеринарии, знала народные средства от разных болезней, любила, выбрав редкую свободную минуту, почитать хорошую книгу. Складно и проникновенно писала. Многие женщины приходили к ней с просьбой написать письмо родному человеку.

Смутное желание «как бы это сказать?» мамока облакала в стройную цепочку нужных слов, то есть писала о тех чувствах и переживаниях, которые хотели бы, но не умели, выразить подружки.

Она трепетно воспринимала красоту природы, любила смотреть как «играет» на восходе весеннее солнце, подолгу любовалась цветущими ровными рядами картошки. При каждом удобном случае звала меня порадоваться вместе с ней, учила видеть красоту, слушать и различать голоса птиц: соловья, скворца, коростели, пигалицы, жаворонка, перепёлки.

Но не только мать и семья определяют воспитание.

ГОВОРИТЬ И МАТЕРИТЬСЯ Я НАУЧИЛСЯ ОДНОВРЕМЕННО

Рассказывали, что 11 июля 1937 года в Петров день в бане почёрному повивальная бабка Лукерья приняла роды и проворковала: "Мужичок родился. Мужичок. В рубашке. Знать, счастливый будет". Это она про меня. Семья как раз мальчишку и ждала. Наследника.

До меня у родителей был сын. Санечкой звали. Он умер от простудного заболевания, когда ему было лет шесть. Остались в семье одни девчонки: Шура, 1921 года рождения, Лиза - 1924, Маня -1926. Вера -1933. Была ещё Танечка, но она умерла, в том же году (1934), в котором и родилась.



Мама, Долинина
Наталья Маркеловна

Утрату сынишки Санечки особенно тяжело переживала мать. Она ещё и на моей памяти нет-нет да плакала. Казнила себя за то, что не уберегла его. Он заигрался во дворе, делая пещерки в снежных сугробах, простудился и получил смертельную по тем временам болезнь - воспаление лёгких. От переживаний, мать тоже потеряла немало здоровья. Появились сердечные приступы. Как есть одетая, в моменты таких приступов, она валилась на кровать, охала, стонала, лежала минут пять-

десять, ждала, когда отступит боль и снова принималась за работу.

С моим появлением потеря старшего стала понемногу притупляться, отходить в прошлое. В хлопотах со мной мать снова ожила, повеселела. Нерастраченную любовь к Санечке с удвоенной силой отдавала мне. Не зря сёстры упрекали мать за то, что я у неё любимчик, маменькин сынок. Мать действительно души во мне не чаяла. Не мне ли знать об этом? До сих пор глотаю горечь сожаления, что не сумел и не успел отдать сыновний долг, ответить на большое материнское чувство должным взаимным вниманием и заботой.

Мать долго не отнимала меня от груди. Я это помню. Давно пора бы, да рука не поднималась. Жалко. И то сказать, попробуй не дай. От обиды и подбородок напрягается и губы сковородником. Упаси бог, заревёт - не остановишь. Пусть уж лучше побалуется.

В те далёкие времена некоторое время со мной возилась бабушка Июня. Звали мы её «бабока». Кругленькая бабока была, тихая, ласковая и очень добрая. С ней было хорошо, покойно и светло. Так бы и сидел у неё на руках, так бы и не слезал. Приглядывая за мной, она ещё ткала половички из разноцветных ниток, ленточек, шнурков. Среди избы стоял ткацкий станок. Все его части были исключительно деревянными. Отполированные долгой эксплуатацией, они тускло поблёскивали окостеневшей поверхностью, мерно постукивали, побрякивали, основа то вскакивала вверх, то падала вниз, челнок взад-вперёд сновал, а под ногами бабоки ниспадал, всё более удлиняясь, конец красивого половичка. Бабока, постукивая станком, напевала какую-то жалобную песенку, от которой клонило ко сну. Со взрослыми, обсуждая ткацкие дела, она разговаривала малопонятным языком, в котором странно звучали новые для меня смешные слова: бедро, батан, ремизка, челнок, цевка, основа, навой и т.д.

Бабока никогда не повышала голоса, не ругалась, не сердилась и сердиться не умела. Говорили, что она такая была всегда, с молодости. При всём том мать восхищалась её смелостью. Бабока не боялась в тёмную ночь в ответ на подозрительные шорохи и звуки, от которых домочадцы в страхе прятали головы, зарываясь поглубже в подушки, выйти во двор, проверить все тёмные углы, убедиться, не спрятался ли где пробравшийся вор или злодей. Так она, однажды, вывела на середину двора пьяного деревенского мужика, с какой-то целью спрятавшегося за амбаром. Бесстрашная бабка была. По семейному преданию родом она была из Одессы, барин выменял её на борзых собак. Где и как судьба свела их с дедом - не знаю.

Примерно с двух до пяти лет, всё холодное время года я жил в основном на печке под дерюгой, на горячих каменных плитках. На улицу выходить было не в чем, да и в избе холодно, без штанов долго не набегашь.

С печки хорошо видно как мать хлопочет в чулане, то и дело во двор выбегает: за кизяком, за водой, картошку поросётам выносит, вот курицу с отмороженными ногами и гребешком впустила, а вместе с курицей в избу вкатился клубок морозного духа. Вот с ведром корову доить пошла, вот тесто замешивает. Сидя на печи, можно наблюдать, как за трубой живут, ползают, шевелят усами тараканы, раздавить на кирпичах вонючего клопа, мыльные пузыри из соломинки пускать, вить верёвки из свежей душистой мочалы. Мало ли на печке интересных дел? Отложи мочало и соломинку в сторону, смотри, как резво вприпрыжку скачут по избе козлята, как зажевал тряпку телок, какие узоры на окнах рисует мороз. Но не единой забавой жив человек. Время от времени я начинал протяжно и дико тоскливо завывать на голодную тему. Иногда так увлекался и входил во вкус своего неизбывного горя, что и самому себя слушать было жалко, особенно если начинать прислушиваться к себе как бы со стороны. Мать моего жалобного воя не терпела:

- Чего базлишь-то? Не базли! Перестань за душу тянуть. И без тебя тошно. Счас вон картошка сварится.

Приходила на обед с работы Лиза - сестра, - девка весёлая, любительница посмеяться. Ей лет пятнадцать-семнадцать. Увидит меня на печке, заплаканного и сердитого, и чтобы отвлечь от печалей, начинает разговаривать со мной ласковым певучим голосом.

- Петь, а Петь, ты ругаться-то никак не умеешь.

- Умею! - отвечаю ей сердито. - Вот ведь врёт, - думаю.

- Нет, не умеешь, - настаивает она.

- Умею!! - кричу я, готовый снова зареветь от обиды на жуткую несправедливость.

- А как ты умеешь? - хитро подбирается Лизка.

Отвечаю тремя буквами. Убедительно и твёрдо.

- Хы-ы-ы, - разочарованно хнычет Лизка, - а больше-то никак не можешь.

Слово из пяти букв произношу членораздельно и победно смотрю на вредную Лизку. В её глазах видны проблески восхищения, но она не унимается и продолжает своё:

- А вот больше никак-никак не умеешь.

От злости впору из штанов выпрыгнуть, но я сижу без оных.

Выпрыгнуть не из чего. Трёхэтажным матом отметаю лизкину клевету и тем ставлю победную точку. Лизка хватается за живот, долго и до слёз хохочет. Я не понимаю причины её смеха, но он настолько заразителен, что мне тоже от него весело. И про голод забыл.

А мать грозит:

Вот уж отец придёт, он те покажет, он те уши то надерёт.

При отце я таких слов не произносил, побаивался.

НАЧАЛО Сороковых

Незадолго до войны произошло у нас два больших события. Первое - 18 апреля 1941 года. Днём, пока я сидел за столом и рисовал дом с палисадником, на печке родился Мишка.

Принимала роды бабушка Маланья. Вот снуёт она, вот суетится, то в чулан, то за печку, бубнит что-то всё, бормочет себе под нос. На печке возня, крик. Потом слышу, вдруг пискнул кто-то там. Позже я узнал, что это Мишка просигналил о своём появлении на свет. В ответ на сигнал бабка облегчённо вздохнула и перекрестилась:

Слава тебе, Господи, слава тебе...

В тот же вечер я разглядывал завёрнутое в тряпочки красное крохотное тельце.

В избе появилась зыбка, которая до того пылилась на подловке. Подвешенная на пружине к брусу, она тихо поскрипывала, мать пела колыбельную, кошка, пригретая на сундуке, мурлыкала своё.

В том же апреле умер Николай Ефимович - муж Шуры. Я его смутно, но помню. Приходил к нам в солдатской шинели, в будёновке. Видимо, после демобилизации солдатскую одежду донашивал. Протягивал мне гостинец: конфетку-подушечку или горстку семечек. Садился на диван, весело и оживлённо разговаривал со взрослыми.

Он был учитель. В те времена учитель в деревне пользовался огромным уважением. И стар и мал при встрече с ним снимали шапки. Да просто как человек он славный был, Николай Ефимович Сидякин.

Горе, как часто бывает, обрушилось внезапно. В самую весеннюю распутицу привёз он из Рассветки воз сена. В пути где-то воз свалился. Кругом вода и снег. Пока он управлялся, перекладывал, промок сам, потный и мокрый на весеннем ветру простудился. Измученный и взмокший, добрался он на такой же лошади из

последних сил домой, свалил сено во дворе. Зашёл в избу и попросил напиться. Мать, чтобы быстрее согрелся, подала ему стакан водки. Водка была ледяная. Выпил, а к вечеру поднялась температура, началась горячка. Три дня боролся со смертью. На четвёртый - сдался. Судьба распорядилась жестоко и просто. Не стало у Шуры молодого любимого мужа, осиротела восьмимесячная Манька. На фоне миллионов погибших на войне, эта смерть накануне всемирной бойни выделяется для меня своей особой нелепостью.

Закопали Николая Ефимовича, помянули, а через некоторое время можно было видеть, как с конца Миловки вдоль деревни в Левашовку двигалась подвода. Правил лошадей отец. Он шёл рядом с телегой. Я семенил за возком. На телеге сидела Шура, покачивался сундучок. Манька сидела рядом на узлах и безутешно редела на всю Егорьевку. Шура возвращалась с пожитками к отцу. Так нас, малышей, стало в семье трое: Петька, Манька и Мишка. Так вместе мы и росли, пока не выросли.



Баня.

В огороде стояла небольшая, снаружи коровяком промазанная, алебастром побеленная, деревянная банька. Та самая, в которой я родился. Крыша баньки покрыта соломой, как положено, прижатой тремя парами неоструганных жердушек, скрещенных и связанных наверху проволокой. Стены предбанника сделаны из конопля, горбыля, старых досок, тычинника, тряпок. Как они соединялись между собой, на чем держались эти разнообразные материалы, только отцу известно. Когда он строил что - то такое или на скорую руку латал дыру в сарае, он называл это одним словом:

- Запеледил, - и добавлял, - насколько хватит.

В предбаннике снимали верхнюю одежду. Дверь в баню была настолько низкая, что взрослым приходилось не просто голову наклонять, но складываться пополам и на согнутых ногах перешагивать через порог. Сквозь крохотное вмазанное в оконный проём стекло в баню проникал свет. В правом переднем углу сложена каменка с трёхведерным котлом для нагрева воды. В левом углу, ниже полка и от нее вдоль стены - лавки. В углу у порога стояла деревянная кадочка с холодной водой, рядом ведро с золой, настоящей на кипятке. Это щёлок для мытья головы. На лавке тазик с ковшом, мочалка, берёзовый веник. Потолок и верхняя половина стен покрыты ровным толстым слоем сажи. Старались до нее не дотрагиваться.

Баню топила мать. Происходило это, как правило, в субботу, редко в воскресенье. Канительное, надо сказать, дело. Ведрами из колодца воды натаскать. Несколько раз за дровами сходить. Если они есть. Когда нет, - натаскать соломы или полыни. Потом целая история - разжечь дрова под котлом. Они сырые, огонь их не берёт. Дует - дует на них мать, стоя в дыму на коленях, аж в висках начинает стучать от натуги и угара. Чёрт бы их побрал, такие дрова. Нет – нет, да разгорятся. Клубы дыма через дверной проём обволакивают предбанник, просачиваются через соломенную крышу. Долго топится баня. Не раз ещё мать нырнёт под дымовой полог к огню, чтобы подбросить дров, помешать угли, прежде чем раскалится каменка и нагреется вода. Искусство топки заключается в том, чтобы уловить момент и вовремя закрыть баню. Рано закроешь – угарно будет, поздно закроешь – жар упустишь. Но вот как будто всё. Осталось вымыть пол, подмести в предбаннике и ...

- Иди, отец, парься. Истопилась баня – то, - говорит мать. И обязательно добавляет:

- Щёлок там, в ведре, холодная вода - в кадке. Смотри, не горят ли в печке угли, залей, если что, и дверь открой, а то угоришь.

- Ладно, - отвечал отец, брал чистое полотенце, бельё и шёл мыться – париться.

Мылся подолгу, парился по два-три раза, хлестался веником и поддавал жару, пока терпела рука. На голову надевал шапку. Рядом с ним, случилось, я не выдерживал и вылетал из бани, как пробка.

В тот солнечный день я сидел в избе на диване у окошка и смотрел, когда отец пойдёт из бани, чтобы сообщить об этом матери: наша очередь идти. И вот увидел: идёт отец в белой нательной рубахе, распаренный, на шее полотенце с вышитыми петухами. Вдруг от ворот навстречу ему бежит запыхавшийся встревоженный вестовой – дежурный сельсовета и зовёт:

- Дядя Кирилл, дядя Кирилл!

Отец в те годы был председателем сельсовета. Они остановились посреди двора. Дежурный быстро что – то говорит отцу, махнув рукой, бежит назад, к воротам. Отец вытирает полотенцем пот с лица, быстро идёт в избу. Переступил порог, встал. В глазах боль и тревога. Банного румянца как не было. Бледный.

- Что случилось, отец? – спрашивает мать.

- Беда, мать, беда, - отвечает, - война...

Так и застряли в моей памяти, отпечатались и это слово «война» и эта домашняя сцена на всю оставшуюся жизнь. Но это было не 22 июня 1941 года. В день начала войны мать лежала в больнице, в Муслюмове. Это был один из многих тревожных дней войны лета сорок первого, который и остановил моё детское сознание на страшном слове «война». Видел и помню проводы.

По законам военного времени массовая мобилизация коснулась почти каждого двора. Сборы были короткими. Молодые здоровые мужики прощались с деревней. То в одном, то в другом конце улицы собирались группами, ходили со двора во двор, от стола к столу, брагой и водкой разбавляли густую горечь расставания, убивали в себе глухое предчувствие, что уходят навсегда. Надрывно со слезой отчаяния пели:

Последний нонешний денёчек.

Гуляю с вами я, друзья.

А завтра рано, чем светочек

Заплачет вся моя семья.

Навзрыд, с причитаниями оплакивали проводы матери, жёны, дети, невесты. Не скрывали слёз, утирая глаза, и сами, спиртным расслабленные, мужики. Подводы одна за другой увозили их на войну.

Осиротела Егорьевка.

Пошли чередой голодные, холодные, тоскливые и тревожные годы. Вскоре в деревне появились семьи эвакуированных ленинградцев. Подводы, груженные узлами, чемоданами, подушками, перинами прибывали к сельскому совету. Там прибывших отец распределял по квартирам. Появились в деревне новые фамилии: Черненко, Дробышевы, Ананьевы и другие. У нас – новые друзья: Вовка, Славка, Шурка, Надька.

Соломенная Егорьевка начала быстро разоряться и ветшать. Смотришь: у одних забор упал, у других калитка оторвалась, у третьих сарай покосился, крыша прохудилась. Подлатать бы, поправить – некому. Мужских рук нет. Печки топить нечем. Дворовые изгороди и постройки пошли на дрова. Зброшенные огороды, как и большие площади полей, пахать и засеять было некому, зарастали сорняками. Снопы сухого бурьяна, нарезанного серпом, зимой так же служили топливом.

Но не зря говорят: нет худа без добра. Весной и летом на одичавших огородах, в лугах ребятишкам жилось привольно. Обьедались лопухами, козловиком, дикой редькой, мешками собирали конский щавель. Пустыри, заросшие полыньёю, лебедой и крапивой, как нельзя лучше подходили для игры в войну. Скрываясь в зарослях высотой в два твоих роста, можно незаметно для «немцев» маневрировать, неожиданно нападать из засады, подкрадываться и строчить из пулемёта в упор. В одном из таких партизанских боёв мы с Вовкой Дробышевым потеряли наган. Не деревянный какой, а железный. Из Ленинграда он его привёз. Долго искали, да не нашли.

Игра в войну стояла на первом месте. Воевали всегда «наши» и «немцы». Много и других было игр. В прятки, в палочку - стучалочку, в чечки, в мушку, в козны, щелчки и другие. Побольше возрастом ребята играли в лапту, городки, чехарду.

До школы я, как говорили, водился с Генкой Долининым. Он ко мне приходил, я - к нему. Жили рядом. Игрушек фабричных не знали. Один раз только с муслюмовской ярмарки привёз мне отец глиняную свистульку в виде птички. Игрушки сами делали. Отец и я. Вот буркало. Гусиная косточка с двумя просверлёнными отверстиями, в

которые пропущена нитка. Натягиваешь нитки – кость вращается то в одну, то в другую сторону и, притом гудит, как шмель. Забавная штука.

Или дергунок. Дергаешь за нитку, а он такие номера выкидывает – никакой мастер спорта не нужен. Делал отец деревянного пильщика. Сложная игрушка. На одном конце пилы медведь, на другом мужик с бородой. Под тяжестью груза покачиваются, а похоже, пилят бревно. Не то что ребёнку, взрослому интересно. Мячики делали из коровьей линьки, корабли и самолёты – из газет, из шпульки – механизм для запуска вертушки. Всегда под рукой были бабки, панок, щелчки, чечки – красивые осколки от старой фарфоровой посуды. Под сараем висела качель. Летом в углу двора, где в пыли купаются курицы, мы с Генкой строили из полынных колышков клетки. Не поделив чего-нибудь, часто дрались, кубарем катались в пыли в ожесточенной схватке. Но тут же, размазав налипшую на слёзы и сопли пыль, как ни в чём не бывало, продолжали играть.

- Генк, а ты хочешь в школе учиться? – спрашиваю.

- Нет. Я хочу на лошади снопь возить, - отвечает.

- Какой ты хитрый, - говорю, - Я бы тоже на лошади ездил, да мамока в школу велит.

Особенно скучно жить было по вечерам. Нельзя ни на минутку забывать, что электричества в деревне не было в помине. Представления о нём даже не имели. Вечерами в избах зажигали керосиновые лампы. Самой ходовой была семилинейная. Свет от неё так себе, зато экономная. Предметом зависти была десятилинейная лампа, да если ещё не коптила, а со стеклом. А была ещё лампа-молния. Ну это знаете, одна на всю деревню. Она, с круглой тесьмой, висела под потолком в сельсовете.

В годы войны строго следили за светомаскировкой. Окна по вечерам плотно занавешивали изнутри кто чем: шалью, одеялом, дерюжкой. Сводки информбюро приносили тревожные вести. Фронт неумолимо приближался. Всё чаще произносились слова: Сталинград, Волга. Отец приносил газету «Правда», читал сводки вслух. В те дни он ходил обросший, худой, хмурый, злой.

Мать каждый день чистила картошку, нарезала её тонкими ломтиками, на железных листах ставила в печь сушить. Сухую сыпала в мешок и уносила на приёмный пункт для отправки на фронт.

Вечерами и по ночам часто раздавались тревожные стуки в окно. Это дежурный. Отец вскакивал и, как солдат, бежал в сельсовет. Телефонограммы и звонки из райисполкома поступали по самым разным вопросам и в любое время суток требовали немедленных мер и действий.

В те дни в небе над Егорьевкой время от времени, появляясь на высокой ноте, нарастал до тяжёлых басовых переливчатых раскатов гул самолётных двигателей. На большой высоте серебристые крестики группами шли с севера на юг. Услышав, мы выбегали считать. Один, два, три..., пять..., десять..., двадцать..., двадцать два!

- Наши летят! – узнавали мы с гордостью.

Как я понимаю теперь, самолёты вели военные лётчики с казанского авиационного завода на Сталинградский фронт. С конвейера – в бой!

РОДНИКИ

Никто не знал, когда появилась Егорьевка. Старожилы на такой вопрос только руками разводили. Рассказывали, однако, откуда название деревни взялось. Мол, собрались мужики на бревне посидеть, подымить. Те, которые первыми свои дома поставили. Стали думать, как деревню назвать. Думали – думали, спорили – спорили, каждый своё предлагает, а общего мнения нет. Когда спорить устали, один из них и спрашивает:

- Чей день – то сегодня по святцам?

- Мой, Юрьев стало быть день, - говорит мужик Егор.

- Вот Егорьевкой деревню-то и назовём.

Бывалые - возражать: мол, Егорьевка уже есть где-то.

- Коли есть, так старая, а наша Новая Егорьевка будет.

На том и порешили - Новая Егорьевка.

Хотя нам никто не мог назвать времени рождения деревни, я почему-то всегда думал, что возникла она в конце прошлого столетия. После отмены крепостного права. Во всяком случае, не раньше. Это подтверждает Николай Фёдорович Растатурин, который сам видел архивные документы, где образованием Егорьевки обозначено восьмидесятыми годами прошлого века. Да и простые наблюдения то же самое подсказывают. Судите сами. Перед войной в деревне осталось три, а до коллективизации было пять улиц. Все они

носили название сел и деревень, из которых в своё время прибыли новосёлы: Левашовка, Балтаево, Миловка, Басары, Шунаки. Некоторые из этих старых деревень и мне знакомы. Балтаево и Миловка до сих пор существуют в Мензелинском районе. В тайниках памяти егорьевских мужиков аккуратно хранились сведения о происхождении их дедов и прадедов. Каждый знал, где его корень. В пределах горизонта фамильной памяти. Так вот, корни эти ещё в сороковых годах не были до конца порваны. Слабые уже, но ещё сохранились родственные связи с метрополией. О молодости деревни говорили и другие приметы. Жители её разных улиц не успели ассимилироваться, смешаться. Каждая имела свои особенности говора, обычаи и привычки. В Левашовке, например, говорили «хорошо», а в Миловке – «харашо». Признаки того, что егорьевцы прожили вместе не более трёх-четырёх поколений. Наше поколение уже таких различий не имело.

Располагалась Егорьевка между большими татарскими сёлами: Баланнами и Чекмаком. До Баланнов полтора километра, до Чекмака – четыре. Сама Егорьевка длиной в километр. В Баланнах берёт начало речушка Баланнинка. Струилась, она маленькая, хрустальная, вдоль деревни через Чекмак в речку Ик. Ребёнок её мог перепрыгнуть, взрослый – перешагнуть.



Часть улицы Левашовки. Середина 60-х годов.



Дом Кирилла Игнатьевича Долинина и часть улицы Левашовки.
Картина с фото середины 60 –х годов.

Слева от речки в два порядка шла улица Балтаево, справа в два порядка – Левашовка и дальше, по прямой через овражек – Миловка.

В период своего расцвета, перед революцией, деревня, говорят, насчитывала более двухсот дворов. На моей памяти было около шестидесяти.

В середине деревни через речку стоял деревянный мостик. Метрах в трёхстах ниже моста – запруда для водопоя, на случай пожара и ребятишкам купаться. Тоже не последнее дело.

Речку выше пруда питали в основном три родника. Изначальный был в Баланнах. Второй, самый многоводный, находился где-то в середине между Баланнами и Егорьевкой. Третий сбегал по небольшому оврагу со стороны Балтаева из Минькиного дола. Он, бывало, и пересыхал. Чуть ниже пруда в речку прозрачной струйкой стекала ледяная вода четвёртого родника, с колхозного огорода. Колхозным огородом звали участок земли за болотистым пятачком кустарника на балтаевской стороне, где росло десятка два крупных

вятловых деревьев. Был там когда-то настоящий колхозный огород, а потом осталось от него лишь одно название. Этот самый примечательный родничок выбивался, пульсируя, на поверхность в топком болотистом месте и, теряясь в зарослях осоки, тростника и краснотала, сбегал к речке. Родничок был когда-то обрамлён срубом из деревянных плашек в три венца. По кочкам и мшистой трясине к нему вела извилистая тропинка. На взлобке около источника росла плотная, как ковёр, гусиная трава. Вода в роднике необыкновенно вкусная. Балтаевские и миловские бабы брали её для самоваров. В пору сенокоса, когда стан располагался недалеко от родника, люди проходили, черпали кто кружкой, кто кепкой, пригоршнями и через дудочку утоляли жажду, от удовольствия кричали, от зубной ломоты мычали. Тут же блаженно валились на траву отдохнуть. В знойные дни от родника веяло ощутимой прохладой.

Более подробного описания заслуживают речка и пруд. Пруд особенно. В летнюю пору он притягивал к себе, как магнит. Местами он был глубокий, как говорили «с головкой». Кто умел нырять, так дно ещё и достать надо было. Родники не успевали обновлять в нём воду. Застойная, она долгий летний день нагревалась до такой степени, что температура могла спорить с грузинскими целебными источниками. «Как шшолок!» - определяли её теплоту. «Как шшолок!» – слышались восторженные возгласы первых ныряльщиков. На поверхности «шшолока» в неистребимом изобилии плавали гусиные пёрышки и парной коровяк. Вкус воды, когда она попадала в рот (а когда она не попадала?) напоминал что-то подозрительно солоноватое, а запахи от испарений ни с чем нельзя было спутать. Источник указанной приправы искать не надо. Несколько выше пруда было стойло. В полуденные часы сюда пригоняли стадо на водопой и отдых. Изнывая от жары и слепней, коровы заходили по брюхо в воду и стояли так, помахивая хвостами и справляли нужду. Многие хозяйки приходили сюда на обеденную дойку. Про гусей и говорить нечего. Белыми стаями они паслись здесь по берегам и плавали с раннего утра до позднего вечера, с весны до глубокой осени.

Сейчас бы этот водоём назвали каким-нибудь «экологически»... Тогда такого слова не знали, думать об этом не думали. Прибежал на берег, выбрал место, где нет ребячьего дерьма и гусяного помёта, выпрыгнул из штанов, разбежался и вниз головой дал леща. Мырнул называлось. Поскрёбся под водой как лягушонок об илистое дно и недалеко от берега с зелёной тиной на голове «вымырнул». Плавали и

ныряли до посинения, до гусиной кожи. На верхней губе в мутной воде успевали вырастить чёрные «усы», грудь, руки, ноги тоже покрывались искусственным серо-зелёным ворсом. Вылезешь из воды, попрыгаешь на одной пятке с зажатым ладонью ухом, чтобы от воды опростать, посидишь на берегу, подрожишь, подождёшь, пока зуб на зуб попадать начнёт, обсохнешь, отогреешься и снова в воду. До пятнадцати раз в день купались. И никто не хворал.

Пруд почти каждый год приходилось прудить заново. В половодье плотину размывало и сносило напрочь. В это время весьма скромная речушка превращалась в мощный, стремительный поток. Пик половодья был, когда вода поднималась выше моста, готовая вот-вот сорвать перила. Да и сам мост висел на волоске. Балтаево в такие дни было отрезано от правобережья, где размещались все колхозные строения и, как бы теперь сказали, объекты жизнеобеспечения: магазин, школа, медпункт, клуб.

Во время половодья меня, маленького, к речке одного не отпускали. Тогда я забирался на соломенную крышу сарая, поветь, делал там себе гнездо и любовался всем, что творилось под весенним голубым куполом неба. Оттуда широкий обзор открывался, охватывая дали до самых Баланнов и баланнинского леса. Видно было, как речка течёт, как лёд по ней несётся, как с полей ручьи сбегают. Балтаевские луга во всю ширь залиты водой и ослепительно искрятся в лучах предвечернего солнца.

Во дворе действующим минивулканом курится навозная куча, растворяя в тёплом весеннем воздухе пряности скотного угла. От земли на огороде пар идёт. Там чёрные по чёрному важно, словно южные инспекторы, расхаживают грачи. Над калиткой на сучке у скворечника выступает скворец. Старательно и радостно поёт он, подражая разным птичьим голосам. Крылышки его как фалды фрака провинциального артиста трепещут и отскакивают от тельца, переполненного чувством весны.

Позднее, когда стал побольше, я на крышу не залезал, бегал к речке. Народ всех возрастов высыпал на берег смотреть ледоход. Зрелище редкой динамики и красоты. Можно долго, до озноба, стоять на весеннем ветру и смотреть, как в свой первый и последний путь несутся стада серо-белых ноздреватых рыхлых льдин, как лезут друг на друга, громоздятся, кружатся в водоворотах, некоторые выбрасываются на берег и, угнездившись там, остаются лежать, пока не растают.

Только тут, на берегу, слышно как в общий гул половодья вливаются ближние конкретные звуки: журчанье, уханье, тяжёлые вздохи льдин, потрескивание и скрип моста, который, будто бы выбиваясь из последних силёнок, сдерживает напор, упирается, пыхтит, но не сдаётся.

Когда долго смотришь в воду, на впечатляющую картину разбушевавшейся стихии, вдруг начинает казаться, не речка мчится мимо, а ты вместе с берегом сдвинулся с места и устремился встречь потока. От иллюзии собственного движения захватывает дух, голова начинает кружиться. Хочется ещё и ещё раз испытать это красивое обманчивое чувство. Но... всему приходит конец. С ощущением эмоциональной сытости и непотребной сырости под носом соображаешь, наконец, что пора домой к теплу и хлебу.

Сколько разговоров потом!

- Генку Чучканова чуть в речку водой не унесло! Ладно Петька рядом был, успел догнать и схватить за фуфайку. Метров двадцать его тащило!

- Шурка Кузнецов на большой льдине с шестом прокатился. Тоже чуть не утонул!

- Видели, какая бочка проплыла?! Из Баланнов, наверное, принесло. Ох и большая бочка! Во, какая!

Комментируют потом ребяташки крупномасштабное деревенское событие – ледоход, взахлёб рассказывают друг другу кто что видел.

Речка к себе и осенью манила. Ждёшь не дождёшься, когда зеркальную гладь пруда ледком затянет.

В конце октября, вечером, прибегает ко мне Серёжка Верин. Запыхался и весть радостную принёс:

- Петька, на речке лёд толстый. Человека держит!

- Врёшь, чай! Божись!

- Убей бог, держит, - божится Серёжка. – Сам наступал. Айда на коньках кататься.

- Мамок, пусти на речку мы с Серёжкой сбегаем.

- Какую речку? Ночь на дворе.

- Ну пусти, - канючу. – Серёжку, дык, отпустили.

- Ладно, сбегай, - сдаётся мать, - Да смотри у меня, недолго там!

- Айда, Серёжка!

Коньки «снегурки» достались мне по наследству от девчонок, у Серёжки были «дутьиши», настоящие. Он, как правило, надевал коньки на лапти, я – на валенки. Пробовал и я один раз, по -

серёжкиному, в лаптях. Не получилось. Ноги оказались жидковатые в лодыжках, не слушаются, вихляют, как на смазанных шарнирах. То лаптями внутрь, то в стороны. Того и гляди вывихнутся. Помаялся я и бросил эту затею. А Серёжка ноги натренировал, зато и бегал на коньках быстрее меня. В лаптях – то легче, чем в валенках.

Прибежали мы тогда на речку, привязали коньки и осторожно с берега на лёд наступили. Вечер тихий, морозный, на чистом небе полная луна. Никакой ряби и шероховатостей на льду. Зеркало новое, да и только! Мы первые. Никто ещё не успел лёд исцарапать и испытать на прочность. Звёзды и луна, отражаясь, под ногами валяются, тишину нарушают лишь такие звуки, как будто время от времени кто-то сухую палочку переламывает. Это мороз работает. Стукнул Серёжка пяткой конька по льду, проломил, сунул палец в пробоину, пощупал и заключил:

- Вот видишь, Петька, - говорит мне, - держит. Толще пальца! – и решительно оттолкнулся от берега. Я - следом. Там и другие ребята к речке бегут: Петька Растатурин, Лёлька Лошкарёв, Серёжка Асафьев. Пусть теперь бегут. Всё равно мы первые! Бежим. Под ногами лёд так трещит, как будто продавец Капитон в магазине ситец отрывает. Из – под коньков белые трещины паутиной во все стороны разбегаются, а впереди ледовая волна перекачивается. На волне этой лунная дорожка змейкой вьется-изгибается. Ух и здорово!

Гнал-гнал я впереди эту очаровательную волну и догнал... А она вдруг возьми, да и лопни! Только шапка наверху осталась. Ледяной водой, как огнём, ошпарило. Надёжно инстинкт самосохранения сработал. Серёжка и помочь не успел, как я на берегу очутился. Только потом сообразил, что там, где я провалился, не с головкой было, а берег вон он, рядом. Развязал коньки и домой. Бежать-то недалеко, метров четырёста, но одёжку мороз моментально схватил и превратил в жестяную. Рукава в локтях, штанины в коленях не сгибаются. В валенках вода жулькает.

- Батюшки мои! – всплеснула руками мать, увидя меня. – Дак он, как люшенька, мокрый до нитки! Утонул, видно! Утонул! – сокрушается. – Вот ведь она, улица-то! Не доводит до добра! Ну-ка раздевайся быстрее! Живо на печку вон! Вот ведь она, улица-то! Говорила, не ходи, дак нет, неслух, убежал! А то как же он Серёжку одного оставит?! А ну как под лёд?! Тогда что? Господи, да за что мне наказание такое...? Глаза бы мои не глядели... В гроб раньше времени загоняют...

Долго выговаривает мать всё в том же духе. До слёз тяжело и горько мне, пострадавшему, выслушивать материнские упрёки. Ведь не нарочно же провалился, чтобы матери навредить. Нечаянно ведь. Бывает же. Да ничего особенного и не случилось. Подумаешь – промок. Вот и согрелся уже. Лежу. Притих виновато, с головой под тулуп спрятался, чтобы не слышать, как мать ругается. Речь матери будто доносится всё тише, тише... «не глядели», «глядели», «ели»... и, как в тёплую прорубь провалился... Уснул.

Ледяная купель – случай. Правда, не со мной одним. Правилom было, пока лёд покрывался снегом, вдоволь накататься на коньках, поиграть в клюшки. Так в то время у нас хоккей назывался. Через толщу прозрачного льда было забавно понаблюдать за огольцами, которых летом ловили решетом. Не менее интересно было найти большой подлёдный пузырь, пробить в этом месте лёд тростью, поднести спичку и получить вспышку сероводорода. Вот, пожалуй и всё, что давала нам речка в зимнюю пору. Потом она покрывалась толстым слоем снега, выравнивалась с окружающей степью и оставалась пустынной до весны. Ну, разве что изредка бабы с ведрами принесут на коромыслах к проруби бельё полоскать, да на чистом снегу над холстами вальком поработать.

Вот опять изменилась погода,
Выпал снег и пришли холода,
В это зимнее время года
Замерзает в реках вода.

Белым снегом засыпана речка,
Лишь темнеют ее берега,
В избах топят русские печи,
Побелели леса и луга.

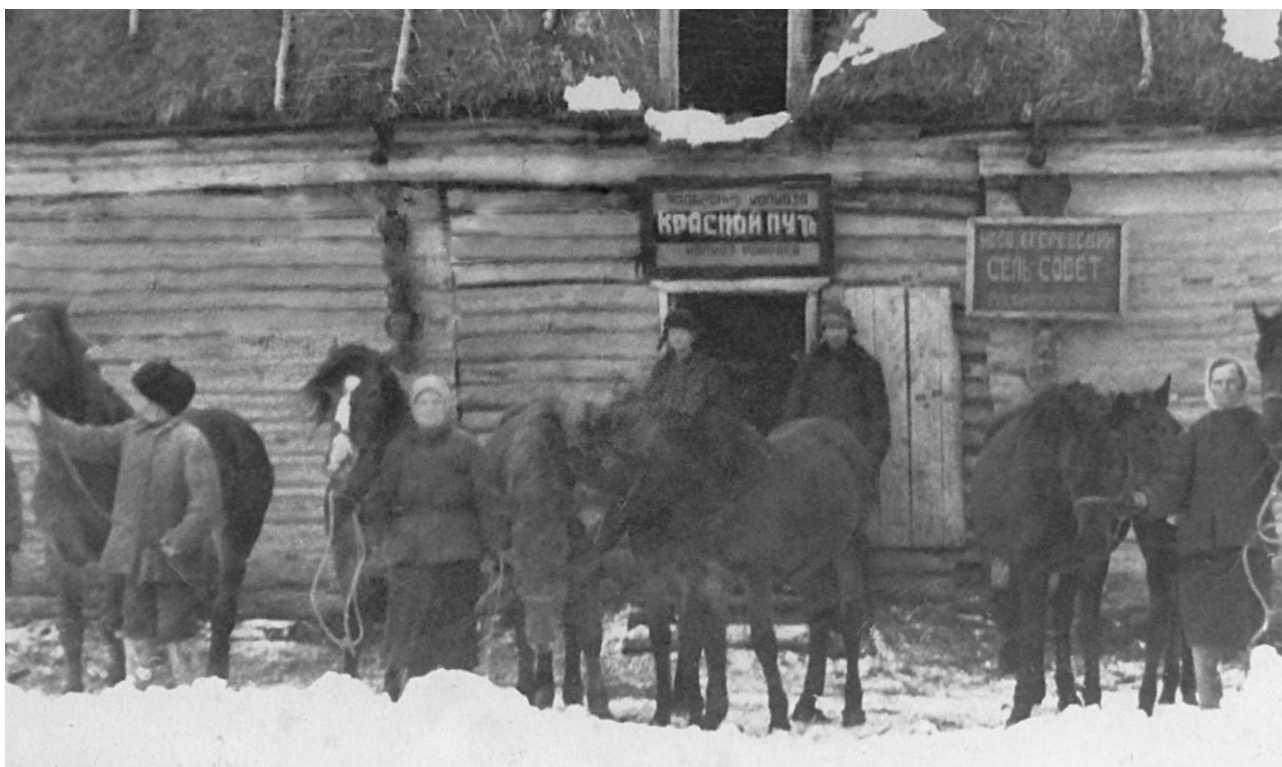
«КРАСНЫЙ ПУТЬ»

В Егорьевке в своё время создали колхоз под названием «Красный путь». Все по тому пути тогда двинулись. Мы чем хуже? Несколько лет с 1931 года до 1938 председательствовал в колхозе отец. Он был вторым по счёту председателем. Первым был, как вспоминает Николай Фёдорович, Павел Воронцов. По рассказам односельчан, тот был чванливой пьянчужкой и распутником, ходил постоянно с измятым портфелем. Выделялся длинным носом.

Мужики, просматривая газеты и увидев профиль Сталина, смеялись: «Смотри, наш Воронцов долгоносый в газету попал».

В период председательства отца колхоз оформился и сложился окончательно. Было три бригады, овцеферма, построены многие объекты, о которых я расскажу несколько позднее. Как говорится, год на год не приходится. Годы были разные по урожайности, по результатам коллективного хозяйничанья. Так 1936 год был засушливым и неурожайным. Люди, оставшиеся без хлеба, оказались на грани голода. Многие были вынуждены в поисках хлеба ехать в соседние области, в Бузулук, менять одежонку и домашнюю утварь на хлеб. Например, дед Фёдор Филиппович Растатурин в тот год в обмен на хлеб отдал добротный тулуп, две шубы, швейную машинку.

В 1938 году, после завершения сельхозработ, осенью на колхозном собрании отец от председательства отказался, заявив при этом: «Вы мне надоели, а я вам. Так что давайте выберём нового председателя, помоложе». И избрали тогда Ивана Сергеевича Растатурина.



Правление колхоза «Красный путь» и
Ново-Егорьевский сельский совет.

В предвоенные годы хлеба тоже иногда не было. В бригадных котлах варили то лапшу постную, то кашу пшённую. Поварихой чаще

работала бабушка Федора. Она же пекла хлеб для колхозников из колхозной муки. Денег колхоз не давал, оплата труда шла записью трудодней, на которые в конце года выдавалось зерно, если оно было в колхозе. Чтобы купить какую-нибудь вещь, нужно было продать какую-нибудь животину. Одевались в основном в домотканое бельё. Верхние рубахи были холщовые. Спали на кошке и соломе, одевались дерюгой. В магазине покупали керосин, сахар. За промтоварами бегали в Чекмак или Шуган. Но там очередь занимали местные жители. Так что егорьевцы редко что покупали.

Исключением из всех предвоенных лет был 1938, который выдался урожайным, и на каждый трудодень колхозник получил тогда невиданно много, чуть ли не по восемь килограммов зерна. Потом, вплоть до 1948 года, то есть десять лет, включая страшно голодные военные и два послевоенных года, колхозники, несмотря на свой поистине самоотверженный труд, снова бедствовали и за стол месяцами, бывало, садились без хлеба. Проклиная такую жизнь, родители не желали передавать её в наследство своим детям. С тех лет и начала рушиться крестьянская связь поколений. Вместе с надеждой на обещанную лучшую жизнь начался распад деревни.

Колхозу «Красный путь» принадлежали две с половиной тысячи гектаров пахотной земли. В основном чернозёмов. К деревне примыкали довольно просторные Балтаевские и Миловские луга. Левашовские залуженные земли лугами не называли. Там был выгон, трава вырастать не успевала, сено там не заготавливали. Это было естественное пастбище – поскотина, где всё лето бродили спутанные колхозные лошади, развились жеребьята, паслось смешанное стадо коров и овец.

Напротив Левашовки находился конный двор: три рубленые деревянные кошары под соломой, замешанной на красной глине, огороженные пряслом. Собственно конюшня была в одном из этих помещений, где содержались на особом рационе председательские выездные жеребцы. Рабочие лошади свободно разгуливали в просторном помещении и во дворе. Напротив конного двора, несколько на отшибе, стояла караулка, где зимой у натопленной печки коротал ночи сторож.

Когда во время коллективизации крестьяне свели своих лошадей на общий двор, получился вполне солидный колхозный табунок, по лошадиным силам равный примерно двигателю современного жигулёнка.

В военные годы конный двор превратился в лошадиный концлагерь. Голодные, заезженные, избитые лошади в прямом смысле испытали войну на собственной шкуре. Табунок в годы войны катастрофически редел. За двором на выгоне, как символ лихолетья, образовался лошадиный погост. Увозить трупы на мазарки не было сил. Навевая унылую философию Вечного покоя, наталкивая на мысль о схожести лошадиной и людской жизни и смерти, там тоскливо торчали скелеты, валялись выбеленные ветрами лошадиные черепа, мослы с копытами. Волки - ночью, стаи ворон и собак - днём поочерёдно терзали тощие трупы павших коняг, старательно и жадно обглаживали кости.

К победному маю война оставила в колхозном загоне около десятка понурых худых чесоточных лошадей. Живыми остались: старая с отвислым брюхом крупная кобыла Луна, одноглазая злая Кривуха, мосластые мерины Бедуин, Майор, некогда мощная, ломовая лошадь Бульба, старые кобылицы Сирень, Карюха, маленький мохноногий Марсик и безотказный работяга Буланка. С полуживой тягловой силой колхоз вступал в послевоенный период – период восстановления народного хозяйства. Позднее пошли в упряжку лошади нового поколения: Бульбенек, Ласка, Манька, Рыжко, Лебёдка, Сивко, председательские жеребцы Серко и Карько. Отдельно стояли, обученные ходить в упряжке два быка. Комолый – Демид, рогатый – Лёнька. Может я не всех назвал поимённо или по части расстановки лошадиных сил на стыке войны и мира допустил какие-то погрешности. Вполне возможно. С тех пор ведь прошло больше сорока лет! Пусть простят меня за это и люди, и кони.

Правее конного двора стоял элеватор – самое крупное строение в деревне. По бревенчатым мосткам на лошадях заезжали на верхний ярус элеватора. Оттуда, черпая из телег зерно пудовиками, ссыпали его в клетки.

Левее конного двора стояла недостроенная (война не дала), так называемая, новая ферма. Чуть левее и ближе к деревне стояло саманное помещение зольника, рига и сушилка.

Перед конным двором была пожарка. В помещении пожарки находилась конная пожарная машина с ручной помпой и деревянной бочкой на телеге. На стене висел комплект сбруи. В углу, на охалке травы, в летние дни спал пожарный – тугой на ухо после контузии дядя Пимен Верин – отец друга моего Серёжки. Сбоку, в станке с отдельной дверью, отфыркиваясь, хрумкала свежую траву пожарная лошадь по прозвищу Кривосакый. Рядом с пожаркой торчала

видимая со всех концов деревни деревянная наблюдательная пожарная вышка. По инструкции положенная. По её подгнившим ступенькам давно не поднимался никто, кроме вездесущих ребятишек. Под вышкой висел довольно массивный и звучный колокол. Стукни по нему гвоздём и прислони ухо – долго и сдержанно гудит. Сразу чувствуется скрытая в нём огромная звуковая мощь!

Совсем рядом с улицей, чуть наискосок, против нашего дома размещалась прокопчённая саманная кузница. Под стенами кузницы валялись кучи шлака, старые ржавые бороны, вросшие в землю культиваторы, крылатые конные жнейки, сеялки, грабли, плуги, отжившие свой век лобогрейки, змейки, сортировки, старые шины с тележных колёс и прочий металлический хлам и лом.

В тёмном прокопченном чреве кузницы у горна и наковальни потные, чумазные, как черти, в союзе с огнём и молотом, колдовали над металлом кузнецы: дядя Костя Муринов и дядя Егор Леонов. Это после войны, когда её построили, там было два горна и кузнецами работали Павел Григорьевич Афанасьев и Иван Кузьмич Муринов. Помощниками у них были Александр Семёнович Муринов – мой тесть и дядя Костя. Характерный перезвон молота и указующего молота из кузницы разносился по всей деревне. Около кузницы было ещё одно рабочее место – станок дляковки лошадей.

В отличие от кузницы, в смежном помещении стены были светлыми, пахло там деревом, скипидаром, сосновыми и берёзовыми стружками. Здесь была столярная мастерская: пилили, строгали, долбили, сверлили. Делали тележные оси, подушки, грядки, оглобли, дуги, рамы, деревянные вилы, грабли, лопаты, чекушки и так далее. В начале тридцатых годов в столярке работали отличные мастера: Андрей Политович Мухин – отец Мани Мухиной и Константин Гудошников. Жили они тогда в Левашовке. В середине тридцатых годов Константин Гудошников с семьёй переехал в Урмятку Мензелинского района, а Мухин Андрей Политович построил в Егорьевке конную обдирку рядом с магазином. Обдирка приводилась в движение лошадьми, которые вращали большой деревянный круг, переступая по нему ногами. Пользовалась она большим спросом не только у егорьевцев. Приезжали на неё и чекмакские, и баланнинские жители. Невдалеке от обдирки стоял большой плетнёвый сарай, обмазанный глиной с двух сторон и покрытый глиной с соломой – шерстобитка. Но вернёмся к мастерской. Кроме названных выше, в ней в разное время работали также Храмов Андрей Дормидонтович и

Растатурин Фёдор Филиппович. Объекты, которые я перечисляю, до и после коллективизации были построены с их участием. Непосредственным, физическим, высокопрофессиональным. В последние годы в мастерской плотничали дядя Яков Масянов и дядя Матвей Асафьев. Добрые люди. На прорыв подключался к ним иногда дядя Иван Ухов.

Я любил убегать в кузнецу. Интересно было смотреть, как работают кузнецы, плотники, окунуться в терпкие запахи угля, металла, дерева. Прибегу, встану в дверях и стою – косяк подпираю. Дядя Костя увидит, с каким любопытством я за их действием наблюдаю и скажет:

- На-ка, Петька, покачай маненько, постой у горна.

С длинного плеча рычага, подвешенного на цепь к потолку свисала на ремешке поперёк перехваченная деревяшка, за которую надо было тянуть рычаг и вздуть меха. Чтобы справиться с тяжёлыми мехами, приходилось в ход пускать весь свой живой вес, отрывая от земли ноги, усердно висеть на ремешке в воздухе. Египетский труд для ребёнка! Раз пять-десять повиснешь – и выдохся.

Была в колхозе и ферма. Можно сказать, даже животноводческий комплекс, где содержалось дойное стадо, отара овец, свиньи, куры. Находилась ферма как раз напротив пруда в географическом центре деревни. Цепочка различных строений: амбаров, клетей, навесов и загонов размещалась по периметру квадратного скотного двора и составляла ансамбль внушительных размеров.

В сороковые и пятидесятые годы на ферме работали молодые в то время солдатские вдовы: Гудошникова Таня, Муринова Катя, Кошелева Катя, Алексеева Маня, девчонка ещё тогда Кузнецова Настя, сестра Шура и другие. В военные годы одно время фермой заведовала Смолина Клавдия – моя крёстная. Чуть больше метра ростом. После войны заменил её на бригадирстве Илья Евлампиевич Муринов. На одной ноге, с помощью костылей, по грязной ферме прыгал. Вторая нога на войне осталась. Полуголодные, в поте лица, не разгибаясь, трудились на ферме вдовы сирые, а продукция вся сполна уходила в какие-то неведомые, загадочные для колхозника закрома государства. Все работы на ферме выполнялись вручную. За трудодни.

Рядом с фермой стояла подбитая мхом избушка-караулка. Её внутреннее убранство: небольшая, на скорую руку сложенная,

облупленная печка, до блеска просиженная широкая лавка-лежанка, два-три берёзовых чурбака вместо табуреток, около печки кривая кочерга, в углу вилы стоят, а на гвозде фонарь «летучая мышь» висит.

В годы войны охраняла ферму тётя Маша Долинина – небольшого роста, красивая, хрупкая и слабая здоровьем женщина. По ночам обходила она свои владения с трещоткой в руках, отпугивая воров и волков, которые частенько наведывались и тревожили скотоводов. Волки особенно. Дом у тёти Маши после смерти мужа и ухода сына Алексея на войну вконец осиротел. Ни кола, ни двора, ни куриного пера. Нищенствовала, как в сказке. Здесь, в сторожке она хоть и не становилась богаче, но, слава богу, в тепле была и младших сыновей, Саньку с Генкой, обогрела.

Позднее коротал в караулке длинные зимние ночи сторож дед Филимон. Растопит с вечера печку, достанет кисет с крепким табаком-самосадом, козью ножку свернёт из старой газеты, от уголька прикурит, сидит на чурбаке, попыхивает и на огонь задумчиво смотрит. Блики огня освещают седую нечёсаную голову, пробегают по красивому рисунку лица, бледно-голубым глазам, играют с его сутулой тенью на стене, прыгают и разбегаются весёлыми чёртиками по тёмным углам и потолку. Фонаря дед не зажигал, берёг керосин.

Чудесный он был старик. Как мошкарка на огонь, слетались к нему по вечерам ребятишки. Погреться, на огонь посмотреть и сказки послушать. Таких сказок, какие он рассказывал, я ни до, ни после, не слышал. Похоже, что сочинял он их сам. Фольклор, что называется, высшей пробы. Конечно, без права на печать. Главным в его сказках были одни и те же лица: барин, барыня, солдат, поп и попова дочка-красавица. Рисовал он сказочные образы сочным русским языком, не стеснясь в выражениях. Злые замыслы осуждал и ругался при этом, на чём свет стоит. Победу добра поощрял радостным, ликующим смехом. И так свежо удивлялся сказочным событиям, как будто не он рассказывал, сам только что об этом узнал. Чуткие ко всему ребятишки, следуя движениям дедовой души, расходились по домам довольные счастливым концом сказки и самим сказочником.

Нельзя не упомянуть о колхозном сарае, который поставили в метрах в двухстах к западу от кузницы. Три амбара буквой «Г», соединённые между собой соломенным навесом, являлись важным колхозным заведением. Полеводы, неспециализированная прослойка колхозников, в летние каникулы – учащаяся мелкота, по утрам именно там получали наряд – кому куда ехать. Брали сбрую,

запрягали лошадей и быков, смазывали телеги. Там под навесом хранились арбы, роспуски, телеги, бестарки, председательские тарантасы и кошевка, а санями и розвальнями летом навес загромождался под самую крышу. В амбарах на деревянных крюках были развешаны хомуты, седёлки, узды, вожжи, поперечники, подбрюшники. На полу лежали мешки и полога, стояли дуги, тележные колёса, бочки, логуны с дёгтем и пеньковыми помазками, валялись запасные тыжи, курки, чекушки разные: короткие и длинные, с развилкой или уступом – для арбы. Всем этим хозяйством заведовал седобородый рачительный дед Кузьма Храмов.

Сарай этот был примечателен ещё и тем, что густо заселялся воробьями. Чуть не под каждым прутком обрешетки пищал воробьиный выводок. Было где полазить, было что поразорять. Движимый древним неандертальским инстинктом, с неопишуемой дикой радостью победителя (ага попался!) запускаешь руку в гнездо, нащупываешь голых горячих чиличат, вытаскиваешь, держишь на ладонке и смотришь, как они разевают большие голодные рты. Потом вместе с червячками помёта, который желторотые тубики успевают выдавить из себя на ладонь, брезгливо стряхиваешь на землю.

Или яички конопатые. Ну достал, ну рассмотрел их на солнышке, узнал насиженные или нет. Что дальше? Об плетень стукнешь, увидишь: содержимое по прутьям стекает... Спросить бы, для чего разорил гнездо, вверг в смятение воробьиную семью? Ответа нет. Разве что в самом значении слова воробей – «вора бей» и подталкивает к такому жестокому обращению с этой пичугой.

Движимые тем же древнеживотным инстинктом и завистью, мужики так же разоряли «гнёзда» зажиточных крестьян во время коллективизации. Николай Фёдорович о периоде коллективизации в Егорьевке рассказывал так. Раскулачили в деревне только одно хозяйство Григория Ильича Афанасьева. В его доме последние годы жил председатель колхоза Растатурин Иван. По слухам, перед войной семья раскулаченного жила в Ижевске. При встрече с егорьевскими Григорий Ильич на судьбу не жаловался и о том, что оказался раскулаченным, не жалел. Вроде бы раскрестьянили, и слава богу. Говорил: «А то бы всю жизнь в земле копался».

Не любили взрослые вспоминать о периоде коллективизации. Так, между прочим, обронит кто-нибудь нечаянно признание в любви к собственной лошади, которую пришлось отдать на общий двор, вспомнит, как первое время бегал, чтобы посмотреть, как там в

колхозе наша Карюха? Но колхоз образовался не просто и не сразу. Трудно собирались. И ситцевые заманки были, и самый обыкновенный шантаж применялся. Особенно пришлось активистам давить на крепкие самостоятельные хозяйства, которые были уверены в себе, в своём трудолюбии и не очень-то нуждались в коллективной подпорке.

До колхоза люди в Егорьевке жили дружно, некоторые объединялись в ТОЗы. Например, за двором Растатурина Фёдора, на задах у реки был оборудован ток, на котором стояла четырёхконная молотилка. Купили её и пользовались совместно сам дед Фёдор, братья Михаил Сергеевич и Иван Сергеевич Растатурины, а также Крыловы, у которых была жатка самосборка. Так вот и объединялись для выполнения тяжелых сезонных работ. Другие работы каждый вёл своей семьёй единолично. Такие крестьяне не видели особого смысла в какой-то другой форме объединения и вступать в колхоз не торопились.

Фёдор Филиппович вступил в колхоз среди последних весной 1931 года, когда посеяли гречиху. За то, что долго не вступал в колхоз его, как и братьев Алексеевых – Петра и Терентия – активисты шантажировали, грозили раскулачить, так как он имел две лошади, три коровы, амбар. Приходили активисты ночью, чтобы народ не видел, как они работают. Иван Алексеевич Кузнецов (Рыженький), Андрей Соколов, работавший секретарём сельского Совета, прикрываясь красивой ширмой политической агитации, порой шли на поводу своих низменных страстей. Любили пображничать. Приходили, выжимали магарыч за то, что не раскулачат и пьянствовали почти до утра.

Колхозные поля, как два гигантских крыла, размахнулись от деревни направо и налево. На север они простирались до горизонта, до так называемых мазарок, куда в яму скотомогильника свозили трупы павших животных. По ночам ветер иногда доносил оттуда в деревню голодный волчий вой. Даже днём, проходя мимо этого жуткого места, зеворотые ребятишки поёживались от страха и переходили на шёпот. Вдруг там в яме волк сидит!

Южное крыло полей уходило за горизонт вплоть до небольшого ложка, который назывался Артакул. Вдоль Артакула в начале пятидесятых годов по сталинскому плану преобразования природы, под руководством доморощенного полевода всё того же Ивана Алексеевича всё те же бабы посадили в несколько рядов берёзки – лесозащитную полосу. Берёзки прижились и радовали глаз путника в

годы нашей юности. Теперь, если они сохранились, это сорокалетние деревья, живая память егорьевским колхозницам.

На западе граница полей проходила по Баланнинскому долу. Не знаю для кого как, а для меня этот дол – заповедное место. Только в устье оврага остались незаросшими геологические напластования, вскрытые когда-то потоками воды. Выше все остальные берега были не очень крутыми, заросшими луговой травой. Сырое дно местами зарастало осокой.

Дол для меня казался местом обитания загадочных и таинственных существ. На его берегах и склонах мы не только собирали душистую луговую клубнику, которая росла здесь в изобилии. Здесь я впервые увидел дикую курочку, зелёных ящериц, барсучью нору, огромных пузатых кузнечиков-кобылок. Тут росли дудки, богородская трава, крупные колокольчики, кашка, мухомор и много других диковинных трав и цветов. Посвистывали, тренькали, звенели неведомые птички. Столбиками торчали суслики, шуршали под ногами какие-то другие мелкие зверушки, прыгали кузнечики, летали нарядные бабочки. Вылазки в Баланнинский дол были праздниками, оставляли впечатления живой сказки.

Восточная граница полей была обозначена искусственной межей. Там, на границе с чекмакскими землями, ничего интересного не было.

- Как это не было? – возмутился Муринов Михаил, когда я прочёл ему эту фразу.

- Как это ничего интересного?! А кустарники?! А рема, где мы разоряли сорочьи гнёзда?! Болота какие были, пигалицы водились, утки вили гнёзда! А ты говоришь, не было.

-Каждый кулик своё болото хвалит. Ты кулик миловский, тебе и границу миловскую хвалить. Левашовские туда редко когда ходили.

Колхоз сеял рожь, пшеницу, горох, овёс, вико-овсяную смесь, просо, гречиху. В разумных пределах сеяли также более трудоёмкие культуры: лён, коноплю, мак. На берегу речки до середины пятидесятых был небольшой колхозный огород. Выращивали капусту, брюкву, морковь, лук и прочее.

Была также и колхозная пасека, пчеловодами на которой в разные годы работали Лошкарёв Илья, Муринов Иван.

ЗАЙЦЫ И ВОЛКИ

Я уже упоминал о нашествии сорняков на запущенные поля и огороды в годы войны. Особенно буйствовала полынь, лебеда, козловик, осот и молочай.

Бурьян в поле, да в зиму – это сытая и идеальная среда для размножения разного дикого зверья. Зайцев, лис и волков развелось, как кооператоров в перестройку, видимо-невидимо. Ввиду обилия мышей и зайцев лисы с жиру бесились. Волки рыскали и следили как поодиночке, так и стаями.

Был случай. С Юркой Симоновым пошли мы на охоту. Ходили недалеко от деревни, за новую ферму, в поле, заросшее бурьяном. С нами была бесхвостая необученная моя собака Белка. На неё и рассчитывали. Бегать она умела, как мы лишний раз убедились, быстрее зайца. Подводила её маневренность, которая была ограничена отсутствием хвоста. Ведь хвост у собаки вместо руля. Надо, скажем, на большой скорости вдруг повернуть направо - занеси хвост направо, и ты получишь крутой устойчивый разворот. А без хвоста круто не развернёшься. Хвост у Белки для косметики девки, просто из озорства, наша да Лошкарёва Манька, на бревне топором оттапали. Одна пуговка, как у зайца, осталась. Вот и бегай с ней за зайцами. Белка бегала и не знала, за каким бежать. Глаза у собаки разбегались, а хвост при этом, повторяю, не срабатывал. Зайцы на крутых виражах оставляли собаку. Выскакивали новые и новые русаки. Собака бросалась иной раз сразу за двумя. И получалось по пословице. Намыкалась Белка, устала, язык высунула, а зайцы словно дразнят её: то тут, то там из лежанок стартуют. Расскажи – не поверят! За каких - то два часа «охоты» мы насчитали сорок восемь зайцев. Симонов Юрий Евгеньевич, слава богу, и поныне жив, соврать не даст. Сорок восемь.

Волки дичью не довольствовались и часто разбойничали в деревнях. Были случаи, лютовали они и в егорьевской овчарне. Приходят люди утром на ферму, а там перепуганные овцы в один угол кошары сбились, на земле трупы овечьи, волков и след простыл. Осматривают мужики место происшествия, тужат, впечатлениями обмениваются:

- Не ест бирюк мяса, только кровь пьёт. Перехватит, вишь, овце глотку, попьёт кровь и бросит. Другую зарежет. И так пока не натешится. Куражится волк, да и только. Людям беда. Вот и Серёжку Верина на всю жизнь обидели. Его Жучку походя съели. Слышал он

ночью, как дворняжка яростно рвалась и лаем заливалась. Потом вдруг отчаянно громко и жалобно заскулила, как будто заплакала. У Серёжки аж сердце в комочек от жалости съёжилось. Потом тише, тише и умолкла. Утром он мне со слезами на глазах показывал место, где волки с Жучкой расправились. Ключки шерсти на снегу, пятна крови, да страшно большие когтистые следы. Видели потом люди днём эту волчью стаю недалеко от деревни. Одиннадцать штук насчитали!

ГОРКИ

Серёжка жил в Балтаеве. Там горка снежная была в Минькином долу около моста. Довольно высокая и крутая. Собирались на горку Гудошниковы, Беловы, Фомичёвы, Симоновы, Верины, Крыловы, Растатурины ребятишки. И я туда бегал. Позднее, когда в Балтаеве ребятишек почти не осталось, горку сделали у плотины. С берега - на лёд. Как летом пруд, так зимой и горка была местом массового сборища. К катанию с горы задолго и основательно готовились. У кого салазок не было, делали ледянки. Брали какой-нибудь старый тазик, решето, корзинку, блюдо, корыто, обмазывали тёплым навозом и ставили на мороз. Когда обмазка примёрзнет, ледянку несколько раз обливали холодной водой, наращивали слой льда. Наморозил льда, привязал верёвку и ледянка готова. После школы, наскоро перекусив, брали за поводок ледянку и бежали на горку.

Кишмя кишит горка. Как муравьи свою кучу облепят её ребятишки. Вереницей один за другим с горки скатываются. На большие санки по два-три человека садятся. Ледянки в пути сталкиваются, теряют направление, несутся в сторону, седуки вверх тормашками в рыхлый сугроб летят и зарываются. Барахтаются в снегу, отряхиваются, отдуваются и снова вверх.

Лёлька Лошкарёв «привёз» на верёвочке на горку деревянного конька. На широкой доске конька прибита стойка с сиденьем, а перед сиденьем круглая палка торчит с поперечиной. Это руль. Такого конька, поди-ка, в деревне мы ещё не видели... Взяли Лёльку в кольцо и, как положено, задали интересующие вопросы:

- Что это? Где взял? Кто сделал?

Лёлька отвечал с гордостью, но поскольку он был тараторкой, при разговоре приставки слов откусывал, основу выплёвывал, а окончания глотал, то я от него ничего не понял.

- Дяколаиздостромсиконя! – выпалил Лёлька, сел верхом, оттолкнулся, лихо стеганул поводком коня по боку и помчался вниз.

- Сиконя, у Лёльки Сиконя! – закричал Мишка Фомичёв. Серёжку спрашиваю:

- Что это Лёлька сказал? – Серёжка Лёльку понимал.

- Он говорит: дядя Коля сделал из доски топором мне сивого коня, - перевёл он.

- Сиконя! У Лёльки Сиконя! – как попугай подхватил я мишкины выкрики.

В это время лёлькин конь внизу обо что-то споткнулся, Лёлька в сугроб полетел, седло оторвалось в одну сторону, руль в другую, а доска перевернулась раза два, шлёпнула Лёльку по заднице и упала рядом с ним в сугроб.

Карабкаясь в горку с ледянкой, Серёжка с жалостью выдохнул:

- Издох лёлькин Сиконь.

- Копец котёнку! – радостно заключил Шурка Растатурин.

Собрал Лёлька деревяшки и понурый домой поплёлся.

Морозным тихим вечерком за километр от детского муравейника слышен скрип снега, крик, смех, визг, писк. Варезки, как кол, замёрзли; валенки промокли, снегу нахлебавшись. Дуешь на заоченевшие пальцы, щёки снегом потираешь, домой идти никак неохота. Давно по небу звёзды рассыпались, ночь опустилась, ледянку не видно. «А давай ещё раз прокатимся». «Ну ещё раз». Придёт мать с прутиком, скомандует:

- Ну-ка марш домой, гулёна! Это сколько можно кататься-то? Ужин давно остыл, а его всё нет и нет!

Берёшь ледянку за верёвочку и нехотя плетёшься за матерью домой.

ОГОНЬ ВОЙНЫ

В те годы из обихода исчезли спички. «Всё для фронта, всё для Победы!» - это были не пустые слова. В них со всей полнотой отражалась жестокая беспощадная реальность. С этим лозунгом сверялся каждый шаг на передовой и в тылу. Фронт забрал и весь огонь без остатка, до последней спички. Тыл и послевоенная деревня добывали огонь, как на таинственном острове Жюль Верна. У каждого курильщика в кармане лежали кремёнь, трут и чекма. Кремёнь выбирали из голышей на берегу речки, чекму делали из стальных сегментов ножей от косилок, что валялись вокруг кузницы,

а трут при случае заготавливали с большим запасом в Баланнинском лесу, хорошенько его просушивали.

Огонь сохраняли также тлеющими углями в очагах. Бывало, бежали из избы в избу беспечные соседи по утрам с посудой. «Нет ли у вас красных угольков? Позаимствовать для растопки...» Один такой визит закончился пожаром.

Было так. Дул сильный юго-западный ветер. Мартовский. Прибежала Кока к Уховым. В Миловке они напротив друг друга через улицу жили. Кокой бабку у Староверовых звали. Набрала Кока в чайную чашку углей. «Я, - говорит, - их за пазухой понесу, под фуфайкой. Не раздует». Из сеней выходить: одна рука, чтобы дверь открыть и закрыть, в другой чашка с углями, а третьей рукой надо полу фуфайки придерживать, чашку от ветра прикрывать. А рук-то у Коки две! Как рванул ветер, распахнул фуфайку, выхватил из чашки тлеющие угли и швырнул в сених куда попало. Кока по старости и простоте своей на то и внимания большого не обратила, запахнулась, да пошла своей дорогой. Никто не видел, когда загорелся мох в углу. Когда огонь подкрался к соломенной крыше. Увидели, когда солома вспыхнула и под ветром быстро вся крыша пламенем занялась. Пока народ собирался, пока пожарные пробудились. Огонь не ждал.

Горящие «галки» с потоками раскалённого воздуха взмывали высоко над пожарищем и подхваченные сильным ветром, как шальные, кружились и метались над другими изгибами, готовые спалить всю улицу. С избы Ухова Николая огонь переметнулся на соседнюю избу брата Ивана, а оттуда «галка» перелетела через улицу на другой порядок, и там загорелся дом Ивана Кузьмича Муринова. Перепуганные таким поворотом событий мужики и подростки залезли на крыши близлежащих домов. Красные от огня и ветра они, обливаясь потом, на верёвках поднимали, подтягивали к себе полные вёдра воды, размашистыми движениями, стараясь намочить как можно больше площади, поливая крыши, пустые вёдра сбрасывали вниз. Стон стоял, жалобные бабьи вопли, рёв животных, плачь малых детей.

С прихлопами, с треском и выстрелами гудело яростно бушующее пламя, раздавались короткие хриплые выкрики:

- Сюда давай! Сюда!
- Багор тащи! Где багор?!
- Открывай сарай! Выпускай скотину, мать твою...!
- Забор ломай! Забор!

Чудно устроены егорьевцы! Снуют между огнём и колодецем. Вычерпывают колодец до дна! Каждый второй норовит покомандовать ближним. Один одно кричит, другой - другое. Разные команды, противоречивые распоряжения, неразбериха, сумятица. Большинство людей бестолково суетятся, не знают, кого слушать, за что схватиться, что делать?

И всё же деревню отстояли, не дали разгуляться огню по всему порядку. Огонь, а вместе с ним и суматоха, начинают убывать. К полудню можно было окончательно подвести итоги пожара.

Три пепелища чернели на мартовском снегу. Дяди Ивана Ухова двор сгорел дотла. У дяди Коли и у Ивана Кузьмича кое-что осталось. Нижние стеновые брёвна, хоть и обгорели, можно ещё в дело пустить.

Горе погорельцам. Но оптимисты-односельчане и в пепелище отыскивали утешительные сравнения. «Уж то хорошо, - говорили егорьевцы, - что каждую из пострадавших семей работоспособный мужик возглавляет». «А ну как вдовья семья?» Иван Кузьмич, правда, хилый и больной мужичишка, да и не молодой. Но начитанный и башковитый. Не сам так других организует, умеет попросить. Во всяком случае предприимчивый, не безнадёжный. К тому же сын взрослый с ним, да и другой, Володька, подросток, по деревенским меркам вполне пригодный помощник. Жена – тётка Настя – здоровая.

Дядя Коля Ухов с войны пришёл, не старый, топор в руках не хуже других держать умеет.

Про дядю Ивана Ухова и говорить не приходится. Мужик крупной кости, кряжистый. Мастер на все руки. Он не то, что бревно обтесать и подогнуть, он, единственный в деревне, умеет от и до сделать тележное колесо. Кто в этом смыслит, тот знает: для такого дела нужен высший класс мастерства! Он сам всему научился благодаря смелой решительной рабочей хватке и большому трудолюбию. Семья за ним, как за каменной стеной.

Все три семьи, как и полагается с помощью колхоза и односельчан, за лето успели, в основном, построить новые избы и в зиму из сараев и бань переселились под капитальные крыши.

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Всё идёт своим чередом. Завтра Пасха. В Егорьевке называли этот праздник «паска». На улице зелёной щетиной проклюнулась первая трава. Но ранним утром так студёно, что видно, как изо рта

пар идёт, а у колодца в колоде с водой до восхода солнца можно даже застать хрупкую, морозцем под хрусталь разрисованную льдышку.

Завтра мы с Мишкой и Манькой рано утром пойдём христосоваться. С вечера деловито прикинули, к кому идти. Решили: сначала пойдём к Симоновым, к тётке Дуне, потом мимо своего двора к тётке Маше Долининой и дальше – по Левашовке. Это сколько яиц наберём? У-у-у! Карманов не хватит.

Мамока наставляет:

- Как зайдёте, так шапки-то снять надо, перекреститься в передний угол и сказать: «Христос воскрес». Тогда и яичко дадут. Поняли?

- Ага, - отвечаю за всех. Старший всё же.

Наутро только проснулись, сбегали с крыльца и сразу засобирались. Оделись в чистые рубашки, чистые носки, в сандали. Вот только старые они у меня. Пирога просят. Ничё. Небось на пасху хватит.

- Пошли! – говорю. Вышла мать из чулана, увидела нас, ладонями по фартуку всплеснула, головой качает.

- Куда же вы неумытые, с грязными рожицами? – спрашивает. – Мишка, вытри нос-то! Манька, чулок завяжи, а то потеряешь. Где у тебя завязки? Петька, ты тоже высморкайся, чего шмыгаешь? Вот шмыгает, вот шмыгает!

Не дожидаясь, пока мы пустим в ход рукава, мать берёт влажную тряпку и идёт по нашим носам.

- Дуй сильнее, - это она Мишке забитый нос продувать помогает. – Дуй! – Мишка дует, того гляди щёки лопнут. – Ну вот.

До лоска захватанные заштукатуренные носы после обработки выглядят свежими и розовыми, как пяточки молочных поросят.

- Теперь ступайте, - разрешает мать.

- Пошли! – повторяю я свою команду. Сам впереди. Манька за мной шагает, Мишка «крестный ход» замыкает. Гуськом пришли к Симоновым, встали у порога, глазами хлопаем, молчим. Душа ниже пояса спустилась, вся мамокина наука из головы вон! Легче сквозь пол провалиться. Тётя Дуня смотрит на нас, понимающе улыбается. В руках у неё три ярко-красных яйца. К ним теперь приковано всё наше внимание. Отдавать не торопится, спрашивает:

- Ну, а чего надо сказать?

Не снимая шапки, упавшим сиротским голосом сообщая:

- Христос воскрес. – Сам Мишке в бок локтем тычу, чтобы примеру следовал. Осмелевший Мишка понял, набрав полные Лёгкие воздуха и, не спуская глаз с яичек, разом выдохнул:

- Христос вослес!

И Манька свои чёрные пронзительные глазёнки, как бы удивляясь чему-то, настезь распахнула. Нажимая на звук «р», который неделю как освоила, звонко подтвердила:

- Хр-р-ристос воскр-р-рес!

- Воистину воскрес, - говорит тётя Дуня и, наконец, отдаёт нам яички.

Торопливо суём их в карманы и, ни слова не говоря, исчезаем за дверь. Ух, тяжело христосоваться! И не христосоваться нельзя. Больно уж яички красивые.

У Гудошниковых получилось совсем легко и просто. Тётя Таня ещё из окна увидела нас, когда мы во двор входили. Только мы в дверь, она нам синие яички подаёт. И перекреститься не успели, радость сама в руки пришла. По плану оставалось к Астафьевым и Лошкарёвым сходить. Но, воодушевлённые лёгкой добычей, мы захотели к Четвертаковым заглянуть – дворняжка не дала. Из-под калитки таким злобным лаем зашлась, и яичек не надо, лишь бы ноги целыми унести.

Дома мамока тоже яиц наварила и луковыми пёрышками покрасила. Ребятишки заходили – раздавала... Остальные горкой в плошке лежат в центре стола на праздничной нарядной скатерти. Паска!

И наелись досыта, и для игры хватило. Чьё яичко крепче, тот победитель.

С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ

Водил я дружбу с Симоновыми. С Юркой и Генкой. Это мои двоюродные племянники. Жили они через двор от нас, на краю порядка. От центра деревни по Левашовке дом номер один. Ну - это если на городской манер. На самом деле, конечно, никакой нумерации не было.

Старше своего дяди на три-четыре года, племянники, естественно, были на голову выше меня, опытнее и мудрее. У них я многому научился, стал лучше понимать окружающий мир. Не зря в народе говорят «с кем поведёшься, от того и наберёшься».

Особенно интересно было с Юркой. Это неистовый выдумщик, затейник и комбинатор. Левашовский Том Сойер.

В те годы деревенская улица ещё не была изрыта, исковеркана колёсами автомобилей и тракторов. Ровная, как стол, она была просто лужайкой. Но зелень лужайки не была однородной. На фоне спорыша розовато-белыми островками выделялся тысячелистник, ближе к дворам бархатными заплатками росла ромашка душистая, броскими пятчиками привлекал к себе пчёл и шмелей красный клевер, а вдоль тропинок конно-тележной колеи из розеток широкоовальных листьев торчали на длинных ножках бурые соцветия подорожника.

Издалека видно, как от своего дома по зелёной улице вдоль телефонных столбов трусцой бежит Юрка. Не верхом на корнюшке скачет, а что-то новое выдумал. Левую руку на отлёте держит, а в правой какой-то поводок виднеется. На поводке впереди Юрки дребезжащее колесо катится – ободок от тележной ступицы. Вот он добежал до нашего палисадника, не обращая на меня никакого внимания, сделал плавный вираж и, сосредоточенный на своём колесе, мимо тополя Чучкановых, как ни в чём не бывало, покатылся назад. Фантастический трюк! Катящийся ободок завораживает, потрясает воображение! Мне, глупому, невдомёк, что на том и построена вся дальновидность стратегии юркиного рейда.

Немедленно ударяюсь за ним. Ноги сами несут меня в след за диковинкой. Вот Юрка встал. Колесо сорвалось с поводка и самостоятельно покатылось дальше. В руках у Юрки осталась хитро изогнутая проволока, которую я принимал за поводок. Это что-то вроде ухватки, которой он толкает впереди себя послушное колесо. Бывает же такое!

- Дай мне покатать, - прошу у Юрки. Он как будто не слышит.

- Бабка сказывала у вас огурцы выросли? – спрашивает, пристально разглядывая свою чудо-проволоку.

- Ага, выросли. Один знаешь какой большой? С бутылку будет!

- Где же он? – скромно интересуется Юрка.

- На грядке лежит, - разъясняю.

- Тикай ! Тащи его сюда, - между делом молвит Юрка, продолжая изучать прямизну своей проволоки. Слово «тикай» каким-то ветром занесло в Егорьевку и оно быстро пристало к языку улицы.

- Сейчас принесу. – И бросился дядя во все лопатки за огурцом. Рад стараться Юрке угодить. Принёс. Юрка смачно откусывает, аппетитно похрустывает и нехотя разрешает:

- Бери, катай, пока ем.

Оказалось не больно и трудно научиться катать железное колесо. Надо только подхватывать и подталкивать его чуть ниже середины, тогда оно послушно, как щенок на поводке, покатится впереди тебя, куда захочешь.

На другой день такие колёсики с погонялками появились и у меня, и у Генки Долинина, Серёжки Астафьева, Женьки Гудошникова, Лёльки Лошкарёва, Как шальные бегаем по улице, катаем, только звон стоит.

- Петька, ты мостик умеешь делать? – спрашивает Юрка.

- Нет, - говорю. – Как это мостик?

- Вот смотри, - говорит и ложится спиной на траву. Коленки согнул, руки за плечи завёл, ладонями на землю поставил. – Р-р-раз! – вдруг пузом вверх прогнулся, напряжился и застыл в этом положении. Рубашка сползла, пупок оголился, щёки и облупленный нос от напряжения покраснели.

- Во! Видал, как надо?! Садись на меня! – командует. Я сажусь. – Подгибай ноги, не бойся, сиди на скамейке. Во! Понял?! Это мостик.

Да, ловко он этот мостик делает. «Вот бы мне так научиться». – думаю и, подражая всем Юркиным движениям, начинаю бестолково и беспомощно, как перевёрнутая на спину козявка, шевелить руками и ногами. Увы! С первого раза ничего не получается.

- Это тебе не колесо гонять, - замечает Юрка. Сам тут же, опираясь на локти, ставит между ними голову и встаёт кверху ногами. Стоит, ноги носками вверх выпрямил, покачивается, не падает. Потом встал на ноги, боком, боком с ног на руки, с рук на ноги. Колесом пошёл! Эх ты, как ловко! Мало того, бросился руками на землю, ноги вверх взметнул. Шаг! Второй! Третий! Мать моя родина! На руках идёт! Чудо! В деревне так никто не умеет. Это уж точно.

С тех пор перед сном я стал мечтать о том, чтобы сделаться сильным и ловким, как Юрка. Каждый день с тех пор около своего палисадника выкобениваюсь мостиком и учусь ходить на руках. Понемногу день ото дня начинает всё лучше и лучше получаться. Что значит тре-ни-ров-ка! Это новое для меня понятие Юрка настойчиво внедряет в моё сознание чуть ли не каждый день.

- Ты неправильно бегаешь, - замечает он. – У тебя и шаг мелкий и ногу ставишь на пятку. Так не бегают. А руки? Зачем они у тебя внизу болтаются? Не умеешь ты бегать.

Сколько лет бегаю, первый раз слышу, что не умею

- Спортсмены бегают вот так, - объясняет Юрка. – Шаг должен быть длинный, ногу выбрасывай повыше и старайся ставить её на носок, корпус назад не откидывай, а наклоняй немного вперёд. Руки, когда бежишь, в локти согни, чтобы они тебе не мешали, а помогали бежать. Ну-ка вот беги!

Я старательно бегу, по науке, чувствую, что постичь искусство бега не так-то просто. Мой вольный бег природного стиля, может, неказистый и кривоватый, зато лёгкий и простой. Бежишь себе, как бог на душу послал, и беги. Дак нет вот: вперёд наклонись, руки согни...

- Вот-вот. Так, так, - подбадривает он меня. – Когда научишься по-спортивному, тогда тебя никто не догонит!

С тех пор, где бы мне ни приходилось бегать: в школе, в армии, юркины уроки я не забывал. Он научил меня плавать, нырять, на ходулях ходить, из ивовых прутьев корзинки плести, узорную тросточку вырезать, ремённую плетёть связать, свистульку сделать, вертушок вырезать. И курить тоже. Да мало ли чего ещё.

Увидел я однажды у Юрки вместо привычной худой и жилистой припухшую, как бы холёную, руку. Как есть у барчонка!

- Хочешь, у тебя такая рука будет? – спрашивает.

- Хочу!

- Айда за дорогу, где клевер.

Пришли, сели на траву, ждём чего-то.

- Сейчас пчела прилетит, я покажу тебе, как надо делать. Побожись, что не будешь морщиться и не заскулишь.

- Убей бог, не заскулю.

- Тогда ладно. Вот смотри, - двумя пальцами он ловко схватил за голову только что присевшую на цветок клевера пчелу, поднёс брюшком вплотную к левой своей руке и, не моргнув глазом, хладнокровно выдержал пчелиный «укус». Ну, разве что уголок рта чуть дёрнулся, да глаза увлажнились. Не спеша он сбросил пчелу, затем вынул живое ещё жало и мы начали наблюдать, как вокруг красной точки укуса появился бледный овал и на глазах начал расширяться и припухать.

- Ну, давай теперь тебе, - говорит. Я протягиваю руку, жду когда он поднесёт пчелу. Мужественно, стиснув зубы, по юркиному, переносу острый жгучий укол пчелиного жала. Подумаешь, пчела! Но на другую руку сажать не даю. Хватит пока на одной.

- Айда, Юрка, купаться, - говорю.

- Айда. Только сначала за Колькой Чивилем зайдём. Мы с ним так договорились. Чивиль – это Кольки Муринова прозвище. Колька живёт совсем не по пути, в Миловке, но раз договорились, то и семь вёрст не крюк. Идём в Миловку. У Кольки во дворе корыто с водой для гусей стоит и весь двор кроме тропинок к калитке и сараю покрыт низкорослой и плотной душистой ромашкой. По бокам окна висят распахнутые ставни. Под окнами у крыльца, на завалинке, играет в какую-то свою игру лет шести девчушка в ситцевом платьишке с голубыми выцветшими цветочками.

Круглолицый живой и непоседливый, как ртуть, Колька выбежал из избы и встретил нас у калитки.

- Айда, пойдём купаться, - зовёт его Юрка.

- Айда, - говорит Колька, выбегает со двора, но тут же вспоминает что-то, возвращается к калитке, наказывает:

- Нинка! Мама спросит, скажи на речку купаться ушёл. Скоро приду.

- Ладно, - отвечает она и, не отвлекаясь, продолжает расставлять что-то на пыльной завалинке. «Какая, гляди-ко, у Кольки сестрёнка забавная. Рыженькая и конопатая вся. Нинкой зовут», - отметил я про себя первую встречу со своей будущей женой.

И пошли мы на речку купаться.

МИШКИНЫ ПРОДЕЛКИ

Днём ворота в сарай настежь открыты. Скотина вся в табуне, гуси, как и я, на речке пропадают. Манька к своей бабушке в Миловку ушла. Один Мишка во дворе остался, да куры с петухом, как вольный ветер, бродят где попало. На завалинке в пыли купаются, навозную кучу посреди двора расшвыривают, за избой в лопухах червячков и паучков ищут, распутив крылья, на солнышке греются.

Просился утром Мишка со мной, а я не взял. «Сиди дома», - говорю, сам с Юркой убежал, пока мамока не увидела. Увидит, заставит Мишку с собой взять.

Сел Мишка на крыльцо, сидит, куриные повадки изучает. Посреди двора полное ведро воды стоит. Вот одна из кур подошла к ведру, впорхнула на краешек. Пьёт. Наклонится, наберёт в клюв воды, поднимет головку вверх, шею вытянет и глотать не надо. Вода из клюва сама по горлышку в куриный живот стекает. Ещё раз наберёт воды, опять поднимет голову. Наберёт – поднимет. Наберёт – поднимет. И так пока досыта не напьётся. Напилась, с ведра слетела.

Подошёл Мишка к ведру. Поправил сползшую с плеча лямку от штанишек. Не долго думая, ухватился ручонками за дужки ведра, наступил на краешек сначала одной, потом другой ногой. Пятки внутрь, носки врозь по окружности расставил, сбалансировал своё тельце так, что циркач позавидует. Руки крыльями назад сложил, между коленок головой к воде наклонился, набрал в рот воды и начал по-куриному голову вверх задирать, глазами в небо. Поднял, сглотнул, смотрит, а перед ним мать стоит, улыбается, готовая вот-вот расхохотаться. Смутился Мишка, потерял чудом сохраняемое равновесие и мешком на землю свалился.

Часто потом в семье вспоминали этот уникальный номер мишкиной цирковой самодеятельности.

Под крышей сарая на пустующем сеновале было несколько куриных гнёзд. Отложит курица яйцо, слетит с гнезда и ну кудахтать. Мамока по этому кудахтанью без ошибки узнавала: снеслась курица. Ближе к вечеру по приставной лестнице поднимается мать на сеновал, собирает в фартук яички, уносит домой. Некоторые куры, реализуя свободу действий, делали гнёзда в крапиве или под лопухами. За избой. Там они почему-то неслись тихо, украдкой, как будто соображали своей куриной головой, что не каждое яйцо можно рекламировать. Случалось так, что секретное куриное гнездо удавалось обнаружить только тогда, когда курочка Ряба сама из-под лопухов с выводком во дворе появлялась. Мать бывало с удивлением и радостью сообщала:

- Пёстренькая-то курица двенадцать цыплят привела. А я смотрю, куда она у меня пропала? Сколько дней не видать её было. На вот тебе! Двенадцать цыплят! Под лопухами высидела.

Мишкина наблюдательность проявилась не только в подражании курицам. Он успешно использовал её в целях промысла. Бедный рацион питания он пополнял самостоятельно сырыми яйцами. Обожал Мишка сырые яйца. Подсмотрит откуда курица слетела, найдёт гнездо, одно яйцо в руку, другое в карман, спустится, надколет яйцо, расковыряет дырочку, выпьет, скорлупу тут же под лестницей бросит.

- Кто это у нас яички пьёт? Зверёк ли какой повадился или сами куры раскалывают? – гадала мамока. Мишка не раз всё это слышал. Молчал, посапывал себе, не признавался, пока однажды не попался с поличным.

- Вот, оказывается, какой это зверёк-то! – принародно разоблачает его за обедом мамока. – Зачем ты, сынок, без спросу-то берёшь, в гнездо залезаешь? Спросил бы, я бы и дала.

- Я исо знаю, где яисек много, - сообщает Мишка.

- Где?

- В клапиве.

Указал Мишка, где спрятано это крапивное гнездо. Несколько яичек в нём, а рядом пустые скорлупки – следы мишкиного промысла.

- Что же ты Мишку-то сегодня одного оставил? Бездомовый. Убежал и пропал. Взял бы уж и его искупаться-то. Вон он грязный какой! – журит меня мать. В переводе на мой язык это означает, что мне разрешается посадить Мишку в коляску и везти его на речку купаться. В коляске-то быстрее и Мишка меньше капризничает. Любит он кататься. Коляска сделана из двух от плуга железных колёс на металлической оси, две лёгкие длинные оглобелки соединены на конце поперечной рейкой, для сидения прибита дощечка. Но коляска намного комфортабельнее, если на ней установлена гусиная корзинка. Из неё и не вывалишься, хоть по каким кочкам катись и сидеть мягко, если соломки подстелить. Закрепил корзинку, пучок соломы бросил, посадил чумазого Мишку, залез в оглобли. Поехали!

Катим по пыльной дороге к мосту в сторону Балтаева. К речке под горку легко бежать. Коляска сама подталкивает, успевай ногами перебирать. Колёса скрипят, как будто пигалица кричит на всю улицу. Сидит Мишка, насупится. Не в духе видно. Навстречу бабушка Анна Растатурина. Добродушная бабка издали улыбается, встрече радуется, а поравнявшись, останавливается. Остановил коляску и я.

- Куда это мы поехали? – ласково обращается она к Мишке.

- В пи-ду твою, - отвернувшись грязной рожицей в сторону, отвечает сердито Мишка.

Бабка от такого ответа явно опешила. Горестно вздохнула, да только и нашлась сказать:

- Ну-у во-о-от!

Бабка дальше пошла. Я словно рикша своей дорогой побежал. Невозмутимый Мишка, как китайский мандарин, ноги калачиком, важно восседал в гусиной корзинке.

СЕПТИЧЕСКАЯ

В зиму с 1943 на 1944 год на больших площадях полей, засеянных зерновыми, урожай остался под снегом. Не сумели убрать, несмотря на то, что наряду с эмтээсовским комбайном «Коммунар» на уборку выгнали с серпами всех мало-мальски трудоспособных баб, старух, подростков. Мать и меня брала с собой на ржаное поле, чтобы серпом работать научился. Срезая длинные стебли колосистой ржи, я усердно помогал скручивать пояски для снопов. Перевяслами назывались. Однажды неловким движением серпа разрезал себе руку. Мать перевязала кровоточащую рану тряпкой, отобрала серп и решительно удалила меня с поля домой. Ряды жнецов явно поредели, но потеря была не очень велика. Ну, может, с десятков снопов остались на моей совести зимовать в поле.

Но если говорить серьёзно, то причиной срыва уборки была всё та же военная разруха. Убирать было нечем и некому. Сеять всё же проще, а для уборки не хватало ни прицепного инвентаря, ни техники, ни людей.

Весной, как только из-под снега начали вытаивать колосья пшеницы, стебли гречихи, метёлки проса, в деревне начался ажиотаж. Голодные егорьевцы наперегонки устремились в поле. По деревне пошли разговоры: кто чего и сколько натаскал. С жадной ревностью люди следили друг за другом, стараясь не отстать в «заготовке» вроде бы дармового, всем доступного хлеба. Заработали в деревне самодельные жернова-обдирки. Просо и гречиху вручную перерабатывали на крупу. Варили кашу. Каша с голодухи казалась, а может и вправду была, необыкновенно вкусной и не вызывала никаких подозрений ни по виду, ни по запаху.

Никто и предположить не мог, что вся эта весенняя кампания по заготовке перезимовавшего под снегом зерна обернётся трагедией, чёрной полосой в истории деревушки.

Началось повальное заболевание так называемой септической ангиной. Проще говоря – массовое отравление. Не знаю, сколько жизней унесла тогда эта коварная болезнь. Меньше ли чем сама война? Да не в статистике дело. Костлявая с косой безжалостно прошла по егорьевским порядкам. Деревня голосила и ревела без умолку месяца два, почти ежедневно, опуская в могилы всё новых и новых умерших. Живые устали копать ямы, плотники не успевали сколачивать гробы. Некоторые трупы привозили и опускали в неглубокие могилы в лубках. В то время нам было по шесть лет, но

имена умерших и мы с Ниной помним. Это сын тётки Лизаветы Волковой – Николай, дочь Катя и сын Иван тёти Маши Антишкиной, бабка Дуня и дед Петруха Христофоровы – Ваньки Староверова родные. Зоя – дочь тётки Машани. Очень весёлая и задорная девчонка росла. Умерла тётка Лиза Баушкина (так их в деревне звали). Взрослой дочери лишился дядя Михайло – Грач. У Ивана Алексеевича умерла жена, умерло несколько детей в семьях эвакуированных. От осложнений после септической ангины не смог оправиться дед Фёдор Филиппович Растатурин, умер осенью того года. Этот мрачный период в жизни Егорьевки особенно врезался в память и потряс меня тем, что семья Гришаниных из четырёх человек вымерла полностью. Окна опустевшего дома, заколоченные досками, долго навевали тоску, мраком и холодом обдавая прохожих.

В период массового заболевания, правда, с большим запозданием, прямо в деревне, в помещении школы, развернули временную больницу. Из райцентра, привезли врачей, организовали диетическое питание.

Некоторое время лежали в больнице и наша мать, и сестра Шура. Я каждый день бегал навещать. Однажды мать угостила там меня ломтиком шоколада. Так в те скорбные дни я впервые узнал вкус этого заморского лакомства. Остальные наши домочадцы: отец, Лиза, Маня, Вера, Мишка и я в больнице не были, отделались тошнотой, рвотой, потерей чувства вкуса и страшным испугом. Нас спасло коровье молоко.

ГРИШКИНА СТРЕЛА

Осенью сорок третьего вслед за бабьим летом, как паучка с небесной паутиной, на егорьевскую улицу судьба занесла незнакомого попрошайку. Не торопясь, шёл он усталой походкой от одного двора к другому. За его плечами на верёвочке болтался серый холщёвый мешок, на голове, словно вороньим крылом, в такт шага, помахивала ухом рваная ватная шапка, из-под обтрёпанных грязных штанин виднелись выше щиколоток покрытые толстым слоем засохшей потрескавшейся грязи, распухшие босые ноги. Слой грязи заменял ногам обувь, согревал их и как-то оберегал от осенней простуды. Нищий заходил в избу, снимал с головы шапку, полным страдания взглядом осматривался, останавливал глубоко ввалившиеся печальные глаза на образе переднего угла, крестился, кланялся и жалобно произносил:

- Подайте милостыню Христа ради, - протягивал шапку. Ему подавали, кто что мог. Ломтик хлеба, крендель, пару варёных картофелин, кусочек сала. Иногда сажали за стол, подвигали миску супа, поили морковным чаем, молоком. Когда он переступил порог нашей избы, помолился, перекрестился, попросил милостыню и протянул шапку, мать пошла в чулан за подаянием. Отец тем временем, отложив газету, пристально присмотрелся к вошедшему. Перед ним стоял оборванный, грязный и голодный человек. В ожидании подаяния он яростно тёрся об острый угол дверного косяка. Чесался. Беднягу явно одолевали насекомые. Отец спросил:

- Ты кто?

- Гришка, - ответил нищий.

- Откуда?

- Из Тамбова.

- Куда идёшь?

- К маме.

- Где твоя мама?

- Не знаю.

- А отец?

- На войне убили.

- Сколько тебе лет?

- Девять.

- Сядь-ка пока вот сюда, парнишка, на скамейку. Мать! – решительно попросил отец. – Истопи нам баню!

Отмыли, оттерли, отскребли гришкино отощавшее тело в бане, вшивые лохмотья тут же сожгли, накормили, напоили его и на полатах спать уложили.

- Куда ты на зиму босой пойдёшь? – говорил ему утром отец. – Живи пока у нас, а там дальше видно будет. Так тамбовский Гришка остался у нас зимовать.

Парнем оказался занятым, начинённым разными интересными идеями и кое-какими навыками мастерового человека. Мы с ним резали табак. Отдельно стебли, которые называются по-егорьевски корнями, отдельно листья и складывали в мешок. Однажды Гришка спрашивает:

- Ты умеешь подснежную стрелу делать?

- Нет, - говорю. – Зачем она подснежная?

- Она сквозь сугроб бьёт, - отвечает. – Я вот сделаю и покажу тебе.

С этой стрелой он захватил меня целиком. С того дня вся моя жизнь кувырком пошла. Стрела всю зиму не давала мне покоя ни днём, ни ночью. Очень интересно было узнать, как она сквозь сугроб бьёт? Нашли мы с ним под сараем дощечку, взяли лучковую пилу, топор и давай стрелу мастерить. Каждый день понемногу.

Выпилили острей пики на одном конце доски. На другом – оперение. На оперении по Гришкиному замыслу полагалось гвоздём просверлить отверстие. Просверлили. Привязали суровую нитку. Получилось что-то необычное, полное таинственного смысла. Не представляя себе что и как эта стрела будет делать в сугробе, я не находил себе места в ожидании её испытаний. Во дворе вьюга наметала сугробы выше забора, а стрела всё ещё не закончена.

Я страшно боялся, как бы она не пропала куда. Сколько раз так бывало. Играешь сегодня во что-нибудь: в мячик там или шпуюлку, а завтра вспомнишь про эту игру, смотришь, а мячика и шпуюлки уже нет. Куда они деваются? Никто не знает. Трепетно опасаясь пропажи стрелы, я просыпался ночами, шарил руками под шкафом, нащупывал драгоценное родное тело деревяшки и облегчённо вздыхал: «На месте». После чего снова забирался на полати и продолжал досматривать сны, в которых стрела занимала центральное место, вырастая до фантастических размеров.

Чем дальше двигалась наша работа по строительству стрелы, тем больше укреплялась моя привязанность к Гришке, тем стремительнее рос его авторитет в моих глазах. Главного конструктора стрелы я начинал любить больше всех на свете. Я боготворил его и восторгался им. Ведь он знает, как надо сделать стрелу! Этого не знал никто во всей Егорьевке. Даже учительница Наталья Фёдоровна не знала. Это факт.

- Мы с Гришкой скоро стрелу сделаем! – хвастался я перед Генкой Долининым.

- Стрела будет сквозь сугроб бить! – раскрывал я свои секреты перед матерью.

- Что-то вы её долго делаете, - говорила мать. – Скоро уж и снег-то растает, а вы всё собираетесь со своей стрелой.

Гришка почему-то не торопился. Мне казалось, что вот уж и всё. Сделали. А Гришка вдруг заявляет:

- Вот сюда колечко надо нацепить. Нету колечка.

Начинаем искать колечко. Потом выясняется, вдруг, что не хватает ещё чего-нибудь. То трубки, то пластинки. Зима и впрямь к

концу клонилась. На смену постоянным морозам всё чаще приходили оттепели, сугробы на убыль пошли, а стрела всё бездействовала.

- Давай, Гришка, пойдём стрелу под снег пускать!

- Как пускать? – спрашивает он.

- Ну как? Ты ведь хотел показать мне как она сквозь сугроб бьёт.

- А-а-а! – как будто еле припоминает Гришка. – Сквозь сугроб-то?

- Ну да,- нервничаю я.

- Не пролезет чай, - сомневается он. – Вон снег-то какой каменный. Надо её, когда чистый снег и мягкий, - говорит, словно не замечая, что всякому моему терпению приходит конец.

Однажды утром проснулся я, глядь в окно, а на дворе свежий снег лежит. Чистый! Белый! Мягкий! Как раз для стрелы. Вот он долгожданный миг, наступил наконец! Счастливыми глазами отыскиваю Гришку. На печке нет, на полатах нет, на кровати нет. Нигде не видно Гришки.

- А Гришка где? – спрашиваю мать.

- Нету Гришки. Ушёл Гришка твой.

- Как нету? Куда ушёл?

- К матери куда-то. Кто скажет, куда его судьба несёт. Пожил у нас, да и дальше пошёл маму свою искать.

Ошеломлённый сказанным, я, растерянный, стоял посреди избы, осознавая непосильную тяжесть утраты. Раскалённая слеза глубокого огорчения медленно катилась по щеке, готовая сорваться с подбородка и прожечь половицу.

Душа разрывалась и во всю мочь кричала от обиды: «Гришка! Где ты? Ты зачем, Гришка, ушёл, когда надо стрелу сквозь сугроб запускать?!»

Гришка души моей не слышал. Он сам, как стрела, пробивался теперь к своей матери сквозь мартовские сугробы на Восток. Вот только пробился ли?

Этого я так никогда и не узнаю.

И как стрела сквозь сугроб бьёт – тоже.

ПЕРВЫЙ УРОК



1-4 классы со своей учительницей Н. Ф. Крыловой
Начало 50-х гг.

Первого сентября сорок четвёртого мы пошли в первый класс. На плечи нищеты и голодом ограниченной детской свободы легла котомка ученических обязанностей. Честно говоря, в разговоре с Генкой Долининым я слукавил. Школа представлялась мне всё же интереснее, чем перевозка снопов. Интерес этот был суммой многих слагаемых. Он, как комочек пчелиной обножки, сотворённый из невидимых глазу частичек цветочной пыльцы, собирался и нарастал рассказами родителей, сестёр, собственными наблюдениями за вещественными и духовными атрибутами учёбы.

В те годы семья реже и реже собиралась в полном составе. Лиза и Маня по государственной разнарядке находились где-то под Горьким на торфоразработках. Без них за стол садилось семь человек. А если с ними, то в тридцати квадратных метрах избы ютилось девять душ. Львиную долю этих метров занимала печь, тут же зимой жил и прудонил телёнок, резвились ягнята. И всё же в тесноте, да не в

обиде. Чем больше семья, тем веселее жить, тем шире сфера живого общения.

Семья была главным источником духовной пищи. Ни радио, ни телевидения, ни оркестров, ни театров тебе. Живое слово. Кто читать умеет – газета и книга. Да, чуть не забыл – кино! О нём разговор впереди. Вот такой набор источников информации. Так сказать духовное меню сороковых.

Вечерами сумерничали. Это когда день закончился, дела как будто все переделаны, а спать вроде бы ещё рановато и лампу зажигать – керосин жалко. Вот и сумерничали. Кто на диване и сундуке сидит, кто на печке, кто на полатах или на полу лежит. Кто семечки грызёт, кто рассказывает, кто слушает. Разговор на вольные темы. Сёстры любили пощипать нервишки младшим братьям страшными рассказами про дедушку-домовидушку, про чертей, про колдунов и колдуний. Им явно нравилось и льстило, когда, напуганные страшным рассказом, мы забирались под одеяло и жались к ним, ища защиты и покровительства. В тёмной избе домовые и черти чудились в каждом углу. А если в тот момент ещё и мышь в подполе скребётся...

- Слышь?! Кто это там?! – зловещим шёпотом спрашивает сестра.

Жутко. От близкого шороха подкрадывающейся тёмной силы, аж под копчиком захладеет.

Иногда в такие часы отец и мать рассказывали о своём детстве, юности, как до революции жили, до коллективизации, как папаша в армии служил, как вилочное восстание проходило. Часто они вспоминали свою школу, учителей, новогодние ёлки, игрушки, подарки. Увлекательные беседы. Они формировали образ школы, как чего-то доброго и очень значительного. Мы не редко сами просили:

- Расскажи, папаша, как ты в школе учился, про ёлку или про то, как в Кунгур ходил.

Он рассказывает, мы лежим, добросовестно слушаем, незаметно для себя засыпаем. Рассказчик позевнёт, посмотрит внимательно на притихших слушателей и спросит:

- Кому рассказываю-то? Спят никак? – И сам утихнет.

Дух школы передавался через сестёр. У них были книжки с картинками, тетради с замысловатыми фигурками треугольников, квадратиков, недоступных для понимания знаков. Были у них альбомы с рисунками красивых цветов, пеналы, ручки, карандаши с блестящими металлическими наконечниками. Не дай бог взять что-

нибудь без спроса из этого пенала! Скандал и подзатыльник, как пить дать, схлопочешь! Быстрее бы уж вырасти, да в школу. Тогда у меня будут такие же книжки, тетради и пенал с карандашами – мечтал я втайне.

Мечта не сбылась. В школу пошли мы с пустыми холщёвыми сумками. В сорок четвёртом не было ни тетрадей, ни чернил, ни карандашей. Один букварь на троих.

Обедняла учёбу война. Но мы, не помню, чтобы унывали и сидели сложа руки. Мы с энтузиазмом осваивали незамысловатую технологию изготовления чернил из обыкновенной печной сажки. Достал из трубы горсть, развёл в воде. Вот тебе и чернила. Нет металлических перьев? Зато есть гусиные. Вместо тетрадей бумаги использовали газету, по типографской печати и писали. Два-три счастливчика в классе имели грифельные дощечки. На них можно бесконечно писать и стирать. Уж больно для черновой работы удобно. Но это было потом. Я ведь собирался рассказать, как мы в школе первый день провели, как первый урок начался.

День был солнечный, сухой и тёплый. Все мальчишки и девчонки босиком. Нарядные. В смысле чистые, не успели испачкаться, вывалить в пыли выстиранную к школе одежонку. Никаких торжественных линеек, никаких родителей. Пришли, пока нет учителей, бегаем вокруг школы. Полная свобода! У первоклашек предстоящий урок, как всё новое и неизвестное, вызывает букет различных эмоций в диапазоне от смеха до слёз. Но есть одно доминирующее чувство, которое переполняет каждого и готово выплеснуться через край. Как его там по-научному назвать – не знаю, по аналогии – телячий восторг. Когда телёнок, перезимовавшего в избе на привязи, впервые выпускают на лужайку, он, глотнув вольного воздуха, ошеломлённый безбрежным пространством приходит в неопиcуемый восторг. «М-м-мык!» - высоко взбрыкнув, да с таким загибом, что сам еле на ногах устоял. Хвост трубой и что есть мочи в карьер вдоль деревни. Пробежал, передними копытцами затормозил, встал, как вкопанный. Уши торчком, загнанным зверем дышит, огненным глазом зрит. Вот снова взбрыкнул, в другую сторону ударился. И пошёл! Не останови – будет бегать, пока от разрыва сердца копыта не отбросит.

Бегают первоклашки вокруг школы, толкают друг друга, галдят, рожицы корчат, языки высовываю, дразнятся, прыгают, руками размахивают. Потом бегут в классе место занимать. Кто с кем сидеть хочет. Всё та же толкотня, всё тот же телячий восторг.

- Учительница идёт! Учительница! – крикнут кто-то.

Разом все разбежались по местам, притихли. Но по левому ряду с парты на парту кто-то босоногим бесёнком проскакал над головами. Оглянулся – это Нинка Муринова. Прочертив последний штрих на картинке всеобщего восторга, будущая моя жена шмыгнула на заднюю парту, возбуждёнными глазёнками зыркнула на дверь и, как ни в чём не бывало, смирно выглядывает теперь из-за парты на вошедшую Наталью Фёдоровну.

Так мне запомнился урок.

ДРУЗЬЯ-ОДНОКЛАССНИКИ

В школу я пришёл подготовленным. До школы прочитал весь букварь и тоненькую книжку с яркими картинками, которую подарила мне сестра Лиза. Называлась она «Оранжевое горлышко». Читал неторопливо, по слогам, стараясь не потерять смысла. Впечатление от книжки было потрясающее. Жалость к петушку, которого сцапал ястреб, комом подступала к горлу и терзала меня не меньше, чем ястреб куропатку. Зато когда птенцы-поршки хитро припадали к земле и становились невидимыми – я переполнялся счастьем. В школе была небольшая библиотечка детской художественной литературы. Самыми любимыми моими книжками там были «Филиппок» и «Сказки дядюшки Римуса». Прихожу из школы, кричу с порога:

- Угадай, мамок, какую я книжку взял?

- Филиппок, чай.

- Как ты угадала? – удивляюсь я.

- Дак ты только его и берёшь. Шестой раз никак читаешь.

В школе появились новые друзья. Рядом со мной за партой на первых порах сидел Серёжка Астафьев. С ним я не дружил. Даже мирно не сосуществовал. Дрался раза два. Один раз из-за суслика, второй раз из-за палки, которую он хотел у меня отнять. Серёжка жадный и всегда сопливый. Его гордость – грифельная дощечка и такой же карандаш. Пишет на дощечке, шумно всхлюпывает в себя и ловко прихлопывает по ноздрям надутыми губами. Это уметь надо! Содержимое носа время от времени провисает ниже надменно выпяченной губы и достигает грифельного сокровища. Тогда он рукавом блестяще размазывает (тьфу!) его по щеке до уха и продолжает пыхтеть над своей, подумаешь невидаль, дощечкой. Мне даже в руках подержать эту дощечку не давал. Жадина и есть жадина!

Сзади сидел Ванька Староверов. Голова у Ваньки круглая, большая, глаза хитрые и насмешливые. Я частенько оборачиваюсь посмотреть: что и как это там Ванька делает? По образцу написанному учительницей в начале строчки он старательно выводит букву «О». Одну букву с другой по соседству списывает. Голову низко, чуть не носом до бумаги наклонил, губы в куриную гузку собрал, шевелит ими от напряжения. Первую букву нарисовал, как учительница. А чем дальше по строчке, тем больше «о» похожа на квадратик. В конце строки перерождение завершается. Там красуется чёткий четырёхугольник. На верхней губе у Ваньки от усердия мелкие капельки пота выступили. Широко улыбается. Довольный.

С Ванькой мы будем долго дружить, до седьмого класса. Пока он в ФЗУ не уедет. С ним мы после уроков частенько свободное время проводили, по тарабарски разговаривать научились, песни поём, по деревьям лазаем, покуриваем иногда, вместе уроки учим, на посиделки ходим и о будущем мечтаем вместе.

Такой же закадычный друг у меня Серёжка Верин. С Серёжкой и прыгать, и бегать, и в бабки, и на балалайке играть мы мастера. Если я к нему, а он ко мне на день по два-три раза не придём, это вызывает серьёзные подозрения взрослых. «Чё это сёдни Серёжка не приходил? Наверное, завтра погода изменится», - иронизировала мама.

С Серёжкой мы пропадали в играх на весенних проталинах. Ох уж эта весна! Когда после долгой зимней спячки просыпается земля и наступают школьные каникулы, на белом покрывале выгона появляются, быстро растут бурые заплатки проталин. На крыльях радости в солнечные дни стайками слетается на проталинки ребятня. Вдохни-ка поглубже! Какие тонкие и привлекательные запахи идут от земли! Густо настоянные на тлеющей прошлогодней траве, они не только воспринимаются носом, как нечто родное и неповторимое. Они возбуждают, пьянят, наливают силой и зовут к движению. Дух весны волнами марева витает над просторами повсюду. Праздничное ощущение весны пополняется щекотливым и целительным контактом босых ног с ласковой прохладой земли. От разлуки до новой встречи с землёй каждый успевал немного подрасти, повзрослеть и измениться. Поэтому, наверное, и ощущения весны всякий раз казались новыми, неповторимыми. Притяжение проталин было настолько сильным, что если бы можно было обходиться без еды, то мы бегали бы и играли без перерыва. Взрослые, проходя мимо, останавливались. Старики специально выходили за калитку постоять,

опершись на палочку, послушать задорный галдёж, посмотреть весёлые детские игры на проталинах, своё детство вспомнить. Вот ребятишки выстроились в две противоположные цепочки и перекликаются:

- Гуси-гуси!

- Га-га-га!

- Есть хотите?

- Да-да-да!

- Ну летите!

- Мы не смеем.

- Почему?

- Серый волк за горой! Не пускает нас домой!

Играли также в кошки-мышки, третий лишний, в мостик, лапту, жмурки. В одних играх вместе с девчонками, в других – одни мальчишки. В таких играх, как городки, козни, мушка, девчонки участия не принимали. Разве только так, в шутку, какая подойдёт, битую попросит: «Дай-ка я попробую». Это когда мальчишки в хорошем расположении духа. А то и близко не подходит. «Одна попробовала...» И локтем ещё оттолкнёт. Такие уж нравы у егорьевской улицы, такой этикет.

БАЛТАЕВСКИЕ БАЛАЛАЕЧНИКИ

Для русской души балалайку сам бог изобрёл. Играть на ней и настраивать её я научился, когда ростом был один метр пятнадцать сантиметров. Сколько в то время лет мне было? Убей – не знаю. Какая связь между ростом и балалайкой? Самая простая. Запомнился один день. Как раз тот самый, когда научился играть. Запомнился он картинкой из деревенской жизни.

Как-то поутру летом у магазина окружили мужики и бабы Шурку Лошкарёва – самого младшего сына Петра Петровича и ну упрашивать:

- Спой, Шурка, песенку. Спой, милай.

Шурка совсем маленький был. Толком и разговаривать-то не умел. Стоит, потупился, краснеет, указательным пальцем в носу ковыряет, белой головёнкой на тонкой шее мотает, отнекивается:

- Нек-ы, ну ы-ы, нек-ы. Ну нафик.

- Спой немножко, раз дяди и тёти просят, - говорит ему двоюродный брат – продавец Капитон Лошкарёв. – Спой немного, я

тебе за это конфетку дам. Шурка верит. Конфет у брата в магазине целый ящик. Косит Шурка на брата и видно, что вот-вот запоёт.

- Ну, поломался немного для приличия, да и хватит. Запевай, - говорит кто-то из молодёжи. Малец этой шутки не понимает и не обижается. Заложил руки за спину, вздёрнул подбородок вверх и протяжным срывающимся голосом затянул свою знаменитую песню. Это был калейдоскоп причудливых самодельных звукосочетаний на нехитром однообразном мотиве. Чаще всего в песне звучали какие-то «лени» и «мони», поэтому и песни называли «Лени-мони». Людей песня веселила и удивляла фантазией автора, его непосредственностью и воодушевлением, с каким он её творил. Он мог петь полчаса и больше, но когда всё чаще начинали проступать повторы, кто-то из чувства меры и жалости к артисту останавливал его, похваливая:

- Ну и хватит. Вот молодец, ай да молодец!

- На-ка вот, - награждает его брат конфеткой.

В руках у него деревянный метр, который по-старинке деревенские называли аршином. Он им материю покупателям отмерял. Вот мы и подошли к тому месту, ради которого я вспомнил этот эпизод. Надо сказать, что существует такой стиль рассказа, когда прежде, чем сообщить главное, рассказчик пробежит круга два по околесице, попрыгает вокруг да около, еле удерживая основную нить разговора и только потом сообщит суть. Если не потеряет её в кучерявых отступлениях. Бывает, что круг замыкается вопросом к слушателю:

- Что это я хотел сказать?

Такой стиль присущ некоторым двоюродным братьям. И я от них недалеко ушёл. Что это я хотел? Ах, да. Захотелось Капитону измерить рост певца-братца. Заодно измерил всех кто под ногами крутился. Меня в том числе.

- Метр, пятнадцать сантиметров! Метр пятнадцать, метр пятнадцать! – повторял я в тот день, сообщая друзьям и домашним свой рост. После шуркиного концерта в тот день я долго и настойчиво учился играть на балалайке. Игра получилась.

Никаких музыкальных инструментов кроме балалайки в ту пору в деревне не слышали. В избах у некоторых, правда, на почётных местах висели украшенные шёлковыми бантами семиструнные гитары. Но на них почему-то мало кто играл. И то только дома. Не русский всё же инструмент, хотя в гитарной меланхолии есть что-то русской душе созвучное. На балалайках играли многие.

Первой балалайкой называли, если не ошибаюсь, Александра Фёдоровича Растатурина. «Вот Сашка играет, так уж играет!» Лучшее по единодушной оценке стариков и молодёжи никто не играл. Такая о нём ходила слава! Эта слава моего поколения не касалась. Был он старше нашего брата лет на десять. В ещё более старшем поколении маэстро-балалаечником был дядя Пимен. Серёжкин отец. Он под старость лет ещё ловко играл. У сестры Мани на свадьбе я с печки видел и слышал: он чарку-другую опрокинул, да взял в руки балалайку, так всю честную компанию песней заворожил. Под свой аккомпанемент голосом Козина, чуть в нос, пел камаринскую.

Эх, ты рассукин сын – камаринский мужик.

Заголил ж..., по улице бежит...

Напился и налимонился, с попадьёю церемонился и т.д.

Много знал он старомодных шуточных частушек. К сожалению, вряд ли кто из нашего поколения сохранил их в памяти. У нас были другие и по содержанию резче, и по характеру отчаянно-агрессивные. Вроде как «оторвать бы ему руки, балалайку под порог».

У егорьевских балалаечников стихийно сформировался и долго бытовал вполне определённый репертуар, как бы музыкальная программа, минимум для любой завалянки. В этом обязательном наборе на первом месте была барыня, потом подгорная, краковяк, полька-бабочка. Без балалайки и вечер не вечер. Где балалайка, там и народ. Летом- на улице, зимой – у кого-нибудь в избе. К клубу нас, молокососов, не подпускали.

Одно время собирались в Балтаеве. Там у двора Вериных под забором стояла скамейка, на которую по вечерам тянулись юные создания, жаждущие общения, частушек, песен, плясок. Сами понимаете, ребятишек повзрослее привлекала туда не просто и не столько балалайка и пляски, сколько милые мордашки болтаевских девчушек. Уже больно симпатичные и привлекательные подрастали там Маруська Гудошникова и Валька Белова. Вокруг них многие ухажёры увивались: Муринов, Верин, Симоновы и другие. Мы, которые помельче, были сереньким фоном, на котором ярче вырисовывалась живая картина зарождающихся чувств и переплетения страстей. Приходили туда Растатурины, Фомичёвы, Храмовы, Чучкановы. Сидели рядком. Балалаечник, а то и двое, как правило, в середине.

На зелёной травке перед скамейкой ногами плясунов ежевечернее протапывался и расширялся пыльный пятачок «танцплощадки».

Незабываемые вечера! Тёплые, безветренные. Только-только улягутся звуки вечерней деревни: топот табуна, хлёсткие удары пастушьего кнута, разноголосое мычание коров и блеяние овец, зазывающие крики хозяек: тря-тря-тря, барь-барь-барь, мась-мась-мась. Лишь только отзвенит струйками молока вечерняя дойка, засыпающая улица наполняется новыми звуками: бренчаньем балалайки, весёлым говором, песнями, смехом, стуком башмаков, сандалий и босых пяток. Оживает пыльный пятачок под забором.

К концу вечера, когда девчонки устают топтать, а музыканты стачивают ногти о струны до критической отметки, наступают паузы. Начинаются рассказы о чем-нибудь страшном и необычном. О колдунах, о приворотном зелье и прочее. Вот собрались сегодня вокруг Кольки Верина. Колька слывёт парнишкой правильным и самостоятельным. Слушают его доверчиво, затаив дыхание. Он повествует неторопливо, тихим вкрадчивым голосом, словно по секрету личную тайну сообщает. Рассказывает о магических свойствах лесного муравейника.

- Это надо делать, когда папоротник цветёт. Взять живую лягушку, посадить её в банку, ровно в полночь унести в лес и положить на муравьиную кучу. На другой день разыскать этот муравейник. Муравьи лягушку съедят, останутся от неё одни косточки. Самую большую из них надо взять, положить в карман и всегда носить с собой. Эта косточка волшебная, она привораживает. Любая девчонка, какую выберешь, будет любить тебя до гроба.

- А потеряешь косточку?

- Пропадёт любовь. Опостылишь.

- А если девка найдёт её? – спрашивает кто-то из девчонок.

- Кого?

- Ну, косточку эту? Тогда что?

- Говорю, волшебная она. Мальчишек привораживать будет, - отвечает рассудительный Колька.

- В лес? Ночью? Ни за что на свете! – говорит другая. Смех.

- Маруськ, нет ли в твоём кармане такой косточки?

- Чё это она у меня?

- Чтой-то к тебе некоторых, как магнитом, - зубоскалит парнишка.

- Больно ты умный.

Опять всем весело и смешно.

Умолк Колька. Притихли и остальные. Стало слышно, как издалека, от зарослей кустарника со стороны речки доносятся сочные

щелчки и замысловатые коленца соловьиной песни, будто хрустальное ожерелье рассыпает, поёт в пруду разноголосый лягушачий хор, время от времени скрипучим голосом напоминает о себе дергач. Тёплый ветерок растворяет дурманящий запах сирени от ветки, которая украшает кепку Генки Симонова. Но вот и соловей сделал передышку. Совсем стало тихо вокруг.

- В эту минуту чёрт родился, - замечает кто-то. И опять смех, говор, трёканье балалайки. Так и толкуются мальчишки и девчонки у забора, пока заря с запада на восток не переселится, пока полночная свежесть и прохлада не начнёт настойчиво обнимать и забираться под рубаху, пока петух не напомнит, что пора расходиться по домам.

ГОРЬКАЯ БУЛОЧКА

До прихода с фронта Павла Михайловича Крылова в егорьевской школе вместе с Натальей Фёдоровной некоторое время, если не изменяет память, учителем работал уроженец Удобновки по ранению демобилизованный из армии. Как его звали? Забыл. Он читал нам большие рассказы о военных подвигах красноармейцев, смелых партизан и злодеяниях фашистов. Один из эпизодов до сих пор в памяти. Немцы захватили деревню и пошли по домам искать себе жранину: «яйко, млеко». Заходит в избу, а на встречу ему бежит двухлетний Васютка. Улыбается и тянется ручонками потрогать блестящую пряжку. Фриц схватил его, через колено переломил ему хребет и швырнул в угол.

Слушая такие рассказы, мы, естественно, переполнялись ненавистью и с нетерпением ждали победы над немцами. Тяжким было это ожидание. Нашу школьную жизнь военных лет взрослые старались как-то облегчить и украсить праздником. Новый год. Первое мая.

Учитель за несколько дней до новогоднего праздника выпрашивал у председателя колхоза лошадь и уезжал в лес за ёлкой. Ёлкой всегда была сосна. Ждали её с нетерпением, соревновались, кто первым увидит, когда учитель ёлку привезёт. Потом спорили: «Я!», «Нет, я первый увидел!» Позднее, всегда за ёлкой ездил Павел Михайлович.

Упираясь макушкой в потолок, ёлка на свежеструганной крестовине стояла в школьном классе. Угарный воздух помещения наполнялся запахом хвои, лесной свежестью, радостным ожиданием праздника.

Украшали ёлку сами ребяташки самодельными игрушками. На ёлке висели гирлянды из бумажных флажков и колец; на ветках сидели чёртики из газетной бумаги, размалёванные углём, бумажные зайцы, петухи; красовались с изображением весёлых рожиц надутые бычьи пузыри. Комочки ваты придавали лесной красавице зимний вид, а восковые свечи, которые зажигались в самый торжественный момент, вызывали выраженный визгом и криком бурный восторг детворы.

На ёлку и на детей приходили полюбоваться взрослые. Перед родителями малыши вовсю старались не ударить в грязь лицом. Взрослые, в свою очередь, волновались и переживали каждый за своё чадо, за качество и смелость исполнения коронных номеров домашней заготовки.

Сначала, взявшись за руки, мы ходили за Натальей Фёдоровной вокруг ёлки и пели «В лесу родилась ёлочка...» Затем начиналось исполнение персональных номеров. Колька без запинки рассказывал большое стихотворение при Мазая и зайцев, Манька Гудошникова с Нюркой Юмуковой дуэтом пели «Вдоль по речке, вдоль да по Казанке...», Колька Муринов плясал, кто-то из крохотных девчушек жалобно повествовал про серенького козлика, который жил-был у бабушки. Последние слова – «рожки да ножки» девочка лепетала сквозь слёзы. Слеза навёртывалась натуральная, от чистого сердца, что в артистизме исполнительницы было особенно трогательным. Шурка Луконина спела о том, как у бабуси жили два весёлых гуся..., а когда под ёлку поставили меня, я жалобно заголосил «Закурю-ка что-ли папиросу я»... Публика песней была очарована, сопереживала и жалела, что напрасная любовь к курносой девочке вынуждает человека с горя тянуться к кисету.

В конце утренника, перед тем как получать подарки, мы снова брались за руки, ходили вокруг ёлки и пели патриотические революционные песни о том, как «шёл в борьбе и тревоге боевой восемнадцатый год», «след кровавый стелется по сырой траве», о том, что «Клим Ворошилов – народный комиссар». А «у высоких берегов Амура часовые Родины стоят».

Затем наступал тот момент, ради которого, собственно говоря, пели, плясали, демонстрировали преданность комиссару. Выстраивалась цепочкой очередь к столу учительницы, где вручался новогодний подарок – булочка, испечённая по поручению председателя тёткой Лизой Масяновой – Манькиной матерью. Булочка, правда, горькая, с примесью полыни. Но извините, другой

муки в колхозе нет. А горечь что? Она всюду. Всё детство такое. Прыгай, радуйся и жуй, чего дают. Прыгали, радовались, жевали.

Перед тем новым годом в семье ещё один подарок был. Чередовались куцые, как куропаткин хвостик, декабрьские морозные дни. Ветки акации под окном, тополь, провода, забор, солома на крыше – всё покрыто толстым слоем инея. На фоне неба, затянутого блёклой матовой пеленой изморози под кружевами инея все предметы были еле приметны и различимы.

В один из таких дней, похрустывая снегом, отец шёл домой. Вдруг к его ногам с пасмурных небес полетели, шелестя крыльями и кувыркаясь в снегу, серые комья, а на шапку посыпались мелкие кристаллики инея, сорванного с проводов. Куропатки! Стая куропаток врезалась в замаскированные инеем провода! Подобрал отец куропаток, которые остались лежать на снегу. Сосчитал – одиннадцать. Принёс домой.

- Вот, мать, бог новогодний подарок нам прислал. Одиннадцать курёнков.

- Господи! Где ты их взял? Откуда столько?! – удивляется мать.

- С неба свалились. На провода налетели. Потуши-ка их с картошкой.

Приготовила мать куропаток, как заказано. Позвала за стол. Полуголодные набросились мы на неведомую нам дичину, съели за один присест и пальчики облизали. До чего вкусно!

- В голодный год мы голубей ели, - говорит отец. – Вот они чем-то по вкусу похожи на куропаток.

Мать добавляет:

- В двадцать первом не только голубей, ворон, многие ели собак. Даже людоедство, говорили, кое-где появилось.

- «Голодный волк, сердитый волк под ёлкой пробегал» - громко выкрикивал я строчку стихотворения, чтобы отогнать страх, навеянный рассказами о голоде.

На Первое мая было проще. И просторнее. Человек пятнадцать старшеклассников с красными флагами строем ходили из конца в конец деревни, пели те же патриотические песни, торжественно демонстрировали международную солидарность трудящихся. Я смотрел на демонстрацию от своих ворот и страшно гордился тем, что в праздничной нарядной кучке марширующих ходит сестра Вера.

УТРО ПОБЕДЫ

Наконец, наступил долгожданный День Победы. Это был поистине всенародный вздох облегчения. Утро победного дня было прекрасным. Чистое голубое небо, солнце, тепло, лёгкий ветерок. Улица покрыта зелёной скатертью свежей травки. В палисаднике весело базарят воробьи, над калиткой распевает скворец. Над избами по всему порядку трепещут куски красной материи – флаги! Большие и маленькие, квадратные и продолговатые, тёмные и светлые, выцветшие и не очень – они преобразовали деревню до неузнаваемости. Серая и умирающая вчера, сегодня она казалась праздничной и нарядной, ярко демонстрировала высочайший смысл своего бытия. С удивлением вспоминаю это видение и каждый раз возникает навязчивый вопрос, на который не нахожу ответа: откуда у голытьбы взялись куски красной материи?

Перед сельским Советом на лужайке стояла продуваемая всеми ветрами, забытая и заброшенная трибуна – обнесённая перильцами деревянная площадка на метровой высоте. Давно, со времён коллективизации стояла тут без применения. Когда-то с неё на летних сходках «оратели» за колхоз агитировали. В годы войны к трибунке разве что худой бродячий мерин подходил линьку с рёбер сбросить, да блудный поросёнок – вшивым боком о столбик почесаться. В День Победы про трибуну вспомнили. Впервые на моей памяти она использовалась по назначению.

На торжественный митинг к трибуне народ со всей деревни собрался. Отец шёл на митинг с Манькой и Мишкой на руках. Он поднялся на площадку. С ним председатель и ещё кто-то. С краткой взволнованной речью первым выступил отец. Выступили и другие. На их лицах было не разобрать, где слёзы радости, где слёзы горя. Никто в мире ещё не знает, нужна ли женщине победа ценой потери любимого? Что принесёт она её одиночеству? Что даст она её детям взамен погибшего отца? Радовались победе и плакали одновременно. Разошлись быстро, долго митинговать некогда было. Шла весенняя посевная.

Так истощённые и обессиленные недоеданием, победители перешагнули незримую границу между войной и миром с доброй надеждой на перемены к лучшему.

О лошадях я уже не говорю. С зимы вышли - кожа да кости. Не то, что плуг или борону тащить, некоторые себя поднять не могли. Чтобы успеть засеять колхозные поля, обучали ходить в упряжке

коров. Помнится, сверху даже план спускали: сколько коров обучить сегодня, сколько завтра, сколько всего. План строго контролировался. Перед прессом угроз и окриков сверху, матерясь и проклиная всё на свете, колхозники загоняли своих кормилиц в построики, срывали злость на животных. За непонимание, за неповиновение, за бессилие лошадей и коров нещадно избивали. Плетью, палкой, колом. Чем попало. Хребтины и маклаки худых животных были исполосованы незаживающими кровотокающими рубцами.

Вечерами в честь Победы, бабы и мужики долго потом пили брагу, бочковое вино, водку. Пели «Шумел камыш...», «Ой, Галя, Галя молодая...», «Солнце всходит и заходит...». Популярные нынче песни посвящённые Победе появились много позже.

Трудно сейчас восстановить всех кто, из деревенских, участвовал в Великой Отечественной войне. Кто-то погиб на поле боя, а кто - то просто не вернулся в Егорьевку, найдя себе другое место жительства. Не все материалы сохранились в архивах, но то что нашлось, стоит того чтобы вспомнить каким трудом далась им эта победа:

Ефрейтор-связист Крылов Павел Михайлович награжден медалью «За боевые заслуги».

Мл. лейтенант, командир взвода автоматчиков моторизованного батальона Храмов Михаил Андреевич награжден двумя орденами "Отечественная война II степени"

Ефрейтор – связист Лошкарев Николай Ильич награжден медалью «За отвагу»

Не буду ничего преувеличивать и сочинять, приведу лишь дословное изложение только одного подвига из наградного листа Храмова М.А:

Товарищ Храмов в боях за станцию Понки 18.01.45 г. со своим взводом в числе первых ворвался в расположение противника и огнем из автоматов уничтожили 18 немецких солдат и офицеров, кроме того было захвачено 4 железнодорожных цистерны с горючим и эшелон с военными грузами.

В боях за город Эльбинг, будучи в разведке, на танке десантом внезапно ворвались в город, где немцы в панике разбежались, бросив на улице всю боевую технику. Товарищ Храмов открыл огонь из автоматов по убегающему противнику, в результате чего было уничтожено 68 немецких солдат и офицеров и 18 солдат взято в плен, кроме этого было захвачено и уничтожено 18 автомашин, 5

бронетранспортеров и другой техники. В боях смелый, храбрый и мужественный.

Достоин правительственной награды ордена «Отечественная война 2 ст.»

Командир МБА 31 ТК2КООБр

Капитан / Вигов/

7 февраля 1945 г.

Поистине данный эпизод достоин сценария любого фильма о войне.

Такие записи в любом наградном листе, но не так просто давались эти подвиги. Так Леонов Егор, Муринов Илья, Лошкарев Николай оставили на полях боя по одной ноге. Если описывать все подвиги наших односельчан, то это можно написать еще одну книгу.

САМОЛЁТ ПРИЛЁТАЛ!

Крупным событием послевоенного лета для Егорьевки было следующее: на лугах за элеватором утром приземлился самолёт. Маленький, фанерный, мирный двухместный.

Вся деревня сбегалась на живой самолёт поглазеть. Даже взрослые поспешали. А я проспал! Когда проснулся, мать первым делом решила меня порадовать и удивить – давай про самолёт рассказывать. Какой он большой, «больше избы», за элеватором сел..., пролетел..., ребятишки глядеть бегали... Серёжка бегал...» Слушал – слушал я, выдержал, заревел с причитаниями:

- Чё же ты меня не разбуди-и-ила-а-а-а?!!

ПОСИДЕЛКИ

В те годы ещё теплились остатки старинного уклада, обычаев, обрядов. Одним из них были посиделки. Рассказывать о своём детстве и ничего не сказать о посиделках, было просто бы несправедливо. Посиделки – неотъемлемая часть егорьевского быта. Их, как слова из песни, никуда не выкинешь. Невозможно представить себе деревню без такого образа и средства общения молодёжи, которое зародилось давным-давно, столетия назад и передавалось из поколения в поколение. Клубов в старину не было, в церквях, как известно, не пляшут. Ладно летом под открытым небом: на лугах, за околицей, на завалинках. А зимой? Как ни крути, без

посиделок невозможно. Да это же целый институт деревенской общественной жизни! В любой семье матери и бабушки в наше время о посиделках могли рассказывать массу интересного. Пряли, вязали, пели, знакомились, влюблялись – всё там было. Донести эстафету посиделок к финишу досталось нашему поколению. После нас, как я позднее узнал, посиделки превратились в вечеринки с выпивкой и балдежом. Другой коленкор.

Помню, посиделки собирались у Муриновых, у Храмовых, у Емельянихи. Емельянихой звали тётку Анну Фомичёву в девичество. Изба Емельянихи стояла в конце балтаевской улицы. Растила вдова двух дочерей. Младшую Нинкой звали. Примерно нашего возраста. Бедствовала Емельяниха страшно. Вся-то Егорьевка вышла из военных лет в ужасной нищете. Тогдашнюю деревню современному человеку и представить трудно. Покосившиеся избушки сараюшки, дырявые соломенные крыши, ни в одном дворе уборной, ни одной поленницы дров. Колхозники ходили в лаптях, рваных заплатах фуфайках, подпоясанные мочальными верёвками, в таких же юбках и штанах.

Жизнь украшали матом. Обозлённые голодом и разрухой, изошённо и отчаянно матерились в бога Христа мать-перемать. Матерились все от мала до велика: мужики, бабы, девки, дети. С тех пор и доныне эта мерзкая привычка не изжита и передаётся из поколения в поколение.

Но даже на фоне общей разрухи, голода и нищеты быт Емельянихи выделялся своим убожеством. У меня никаких матерных слов не хватит, чтобы обрисовать его во всей красе. Кроме рвани, которую мать и дочери надевали на себя, в избе шаром покати, ничего не было. Ни удавиться, ни зарезаться нечем. Ни занавесов, ни постели, ни скатерти. Обмызганный стол с шишковатой от проскрёбанных косарём углублений столешницей, две скрипучих расшатанных табуретки, такая же скамейка и печка облупленная. Окошки с одинарными рамами наполовину для тепла забитые досками, между стёклами и досками насыпана мякина и соломенная труха. К потолку подвешена керосиновая коптилка. Чаще в этой избе длинными зимними вечерами мы и собирались на посиделки.

Увидит кто-нибудь из стариков в окошко шагающих по улице подростков и затеет разговор:

- Куда это левашовская шантрапа в такую непогоду потащилась?
- Чай, к Емельянихе, на посиделки.

- Не сидится в тепле-то. Хоть сопли на кулак мотают, а к чёрту на куличики идти надо.

- Молодость. Чай и сам такой был... Забыл ай..?

И пойдут вспоминать свои молодые годы, свои посиделки. А нас, одиннадцати – четырнадцатилетней нечёсаной и вшивой шантрапы у Емельянихи собиралось человек до пятнадцати.

В беспросветную жизнь хозяйки посиделки как-никак вносили разнообразие, скрашивали её существование. Во время наших игр она обычно сидела на печи, молча улыбалась, присматривая за поведением гостей. В деревне она слыла несусветной говоруньей. Разговаривала крикливо, громко, энергично, с белой пеной у рта на маленьком одутловатом лице. Характерной её особенностью было то, что она не умела слушать. Сама строчила, как пулемёт, сбивчиво и не всегда понятно. В этом смысле имя её стало нарицательным.

Чем там занимались? На рогожке сидя, о соболях рассуждали. Играли. Пели частушки под балалайку, грызли семечки. Много было всяких забавных придумок. Какие-то считалки, кому что выпадет: спеть, сплясать, стишок рассказать. Играли в глухой телефон, когда сидя рядом, с уха на ухо передают задуманное слово. Пока оно дойдёт до последнего, его так исказят – ни на что не похоже. Начинается выяснение, кто что передал. Выявление озорника сопровождается смехом. Играли в ремень, в жмурки, в почту. Была игра, в которой надо было целоваться. Садись двое на табуретку спиной друг к другу. По счёту «раз», «два», «три» разом поворачивали головы. Если повернули головы в одну сторону – целуйтесь, в разные – один выходит из игры. Шумно, весело, смешно.

Загадывали загадки. Ведущий выкрикивал:

- Шла баба с тестом, упала мягким местом? Чем вы думаете?

- Жопой, - без запинки отвечает самый быстрый.

- Я спросил, чем вы думаете? Все думают головой, а ты ... задницей.

Хохот стоит.

- Сидело сто гусей. Одного убили. Сколько осталось?

- Девяносто девять.

- Один!

- Как же один-то? – начинают спорить.

- Девяносто девять улетели. Один убитый остался.

- Кто ногами до потолка достанет? Кто смелый?

Все догадываются, что эта загадка тоже с подвохом. Переглядываются, плечами пожимают, разгадать никто не может.

- Нет смелых? Показываю, - говорит ведущий. Берёт табуретку и упирает её ножками в потолок. – Видали?!

- А-а-а! – разом выдыхают собравшиеся.

Весь этот посиделочный шум, ребячьи игры и шалости окутаны милой детской непосредственностью, душевной чистотой и доверительностью друг к другу, на какую способны только полуголодные маленькие крестьяне, верящие в доброту, чертей и домовых.

На улице лютый холод, выюга – света божьего не видно. Вокруг избы и хлевушков такие сугробы намело – с крыш на лыжах кататься будем. В печной трубе у Емельянихи в посиделочные паузы слышно ветер, словно стайка бесенят воет тоскливо и жалобно. Но когда нас много и вместе, то всё кажется, что тепло, уютно и весело на земле жить. Не то что бесенята, сам чёрт не страшен. Наверное, и Емельянихе с нами так казалось.

Прошу простить меня за то, что повторяю прозвище. Не я его давал.

ПРОЗВИЩА

Прозвища имели в деревне широкое хождение. Невидимая рука щедро наделяла ими почти каждого второго. Источник зарождения прозвищ – тайна за семью печатями, которую никто не пытался разгадывать. Вопросы не возникало: откуда они, в чьей голове зарождались. Уместно вспомнить подходящий к этому мишкин ответ. Однажды он, маленький, в очередной раз надерзил матери. Стала она выговаривать ему, что, мол, разве можно так, с матерью-то? Ведь я родила тебя... Он ответил: «Никто меня не родил. Я так тут и был». Так и прозвище. Пристанет – как тут было. Всю жизнь носи, смены не проси.

Появились самые невероятные самодельные имена, которых ни в одном словаре, ни в каких святцах не сыщешь. Короткие, звучные, цепкие, как репы: Кошель, Чивиль, Бутря, Кукорь, Пырин, Буржуй, Грач, Кадряк, Мажар, Шутей. Давались раз и навсегда. Казалось, никто особо и не обижался, смирялись.

Поговаривали, что многие из прозвищ, самые колоритные – продукт творчества тётки Настасьи Муриновой. Если это так, то без преувеличения я бы назвал её великим художником слова.

Присмотревшись внимательно, в прозвищах при желании можно увидеть и чисто практическую надобность. Судите сами. В деревне

два Кольки Муриновых. Но по отчеству же различать пацанов в самом деле? Младшего называют Чивиль и точка. Конец путанице. То же самое с Николаями Растатуриными. Младший – Буржуй. Из двух Муриновых Михайлов – младший – Немец. Это как табельный номер, как литера.

Прозвища были не только индивидуальные, но и общие, по принадлежности к деревне. Удобновские – ягуты. Егорьевские – черноголяши. Шуганские – пяташники. Почему «ягуты» - не знаю. Откуда оно пришло это племя ягутов? Мне тоже неизвестно. Русские они, но язык насыщен такими словечками, что извините, ни в какие русские ворота... Крапива, например, - терепига. А говор какой, а диалект чей? Ванька, Санька, Гришка. Их так и дразнили: глянь-ка, Манька, пузырь лятить, хвостом вяртить. Егорьевские потому черноголяши, что большие любители носить чёрные шерстяные чулки. Шуганские прозваны так за то, что торговали на своём шуганском, в своё время, кстати, очень многолюдном базаре, всяким копеечным товаром. Кричит, бывало, шуганская торговка:

- Лущёк! Лущёк! Пять копеечек пущёк! Лущёк, лущёк!

Вот их и прозвали пяташниками.

КОНОПЛЯНОЕ ЛЕТО

Председатель колхоза Растатурин Иван поручил Юрке Симонову во время летних каникул коноплю охранять. В тот год коноплём были засеяны пустующие огороды вдоль дороги к речке в Левашовке и за мостом в Балтаеве. Посевы конопли начинались как раз за юркиным домом, рядом с огородом Симоновых.

- Конопля, - говорили колхозники, - штука стоящая. На ней некоторые хитрые колхозы Альметьевского района в одночасье разбогатели, миллионерами стали.

Ну, это я чтобы лишний раз подчеркнуть важность юркиного дела. Нельзя было без охраны. Изгороди не было, доступ к посевам открытый, а охотников полакомиться молодыми побегами конопли выявилося великое множество. Вся бродячая животина туда норовит: козы, овцы, свиньи, телята. Всем охота пожевать витаминной конопляной зелени. Но враг номер один – это, конечно, гуси. За ними глаз да глаз. Только согнали стаю с одного угла участка на балтаевской стороне, гладь, ан на левашовской во всю орудует – стриждёт посевы другая стая. Гуси держат Юрку в постоянном

напряжении. Нахальные, спасу нет! С этими гусями все ноги в мозолях. А тут ещё председатель на жеребце подъехал:

Ты куда, елена митя, смотришь? Ни видишь, гуси в конопле?

Хоть и за полный трудовень, да попробуй, как угорелый, бегать день-деньской за настырной птицей. С этими гусями сразу и не разберёшь кто он – Юрка? Сторож конопли? Или пастух гусиный? Но не долго Юрка чесал затылок, размышляя над своей тяжёлой долей. Сам собой созрел мудрый план: привлечь к активным боевым действиям в войне с гусиными выводками глупых, но лёгких на ногу октябрят и беспартийную мелочь. Сколько их без дела слоняется. Тут же, рядом, на речке днями пропадают. Весь и вопрос-то, чем привлечь? Но на то он и пионер Юрка. Не то, что наш брат – стручки голые. У него уже под пазухой рыжая растительность начинает пробиваться, знает, чем взять.

Принёс из дома лопату. Выбрал место на пригорке, недалеко отводы, откуда хорошо просматривается вся конопляная плантация и начал копать яму. Октябрята тут как тут. Что это Юрка затевает? Обступили, интересуются:

- Ты чего, Юрка, копаешь?

- Не видишь что ли? Землю.

Именно так хитро и надо отвечать. Ответишь прямо – интерес пропадёт. А так – вопрос остаётся, тайна не раскрыта. Она продолжает манить.

- А чего будет?

- Чего будет? Много будешь знать – скоро состаришься, - отвечает. Не уходить же теперь от Юрки, не раскрыв секрета. Одно остаётся – как-то выслужиться перед Юркой, чтобы в доверие войти.

- Дай покопать.

- Ты, лучше знаешь чё?

- Чё?

- Сбегай вон гусей отгони подальше от огородов.

Смотришь и побежал любопытный за гусями. Ванька в одну сторону бежит, Петька в другую, Серёжка на очереди.

Пошли у Юрки дела, как по маслу. Сам он интересным, привлекательным творчеством занят, ребятишки по его теперь уже молчаливой указке, как по мановению полководца, снуют вдоль плантации, гусей отгоняют.

Выкопал Юрка окоп. От солнца и дождя над окопом соорудил навес, на дно соломы настелил. Лежит в окопе, читает роман Бубеннова «Белая берёза», папиросы «Бокс» покуривает. Красивый

образ жизни ведёт. В помощниках теперь недостатка нет. Вокруг ни одни, так другие ребяташки толкуются. Купаться идут – заглянут, с купанья идут – опять к окопу заворачивают. Под рукой то Генка Чучканов, то Генка Долинин, то Серёжка Верин. Обо мне и говорить нечего. Я у Юрки за адъютанта. Целыми днями готов в окопе сидеть, только бы дома не ругали. Вот Мишка с Ванькой Фомичёвы, Шурка Растатурин, Шурка Гудошников с речки идут.

- Крык! – торопливо выкрикивает кто-то, подходя к окопу. В переводе с татарского – это сорок, а с прибалтийского жаргона: оставь докурить.

Юрка с солидной неторопливостью откусывает замусоленный конец папиросы, смачно выплёвывает его и передаёт окурочек тому, кто «забил». К окурку тянутся остальные: дай зобнуть. Зобают по очереди. Когда уходят, Юрка мне говорит:

- Кончились. Нету больше. В магазине Капитон папиросы на яички обменивает. Два яйца – пачка. Знаешь где яички?

- Где?

- На ферме. В курятнике у тётки Кати Кошелевой. Она в обед корову доить уходит, дверь снаружи на замок запирает. Можно с подложки туда залезть. Там одна доска на потолке открывается. Сбегай, возьми штук шесть.

Побежал. Ферма – вот она, рядом. По угловым выступам брёвен легко залез под соломенную крышу на чердак. Под крышей сквознячок гуляет, воробьи чирикают. Кошачьей поступью, воровски озираясь, прошёл над несколькими клетями, взглянул через дыру в крыше во двор. Пусто. Ни души. Нашёл ту самую доску, откинул её в сторону, пролез в отверстие, повисел на руках и спрыгнул на пол. Куры такой переполох устроили, такой галдёж и пух подняли, что впору убежать с перепугу. Выдержал. Нащупываю в гнёздах-корзинах горячие яйца и рассовываю их под рубаху и в карманы. Через щели вижу вдруг – тётка Катя идёт! Не помню, как я вылез обратно, какая сила выбросила меня в потолочное отверстие. Когда тётка Катя вошла в курятник, увидела пролом в потолке, когда изумлённо вскрикнула и всплеснула руками, я в это время сидел уже в окопе и лихорадочно шарил под рубахой, вынимая яйца. Только тут я вспомнил, что лазейка в потолке птичника осталась открытой.

По деревне насчёт курятника лёгкий слушок прошелестел и утих. Благо Капитон не спрашивал, откуда пацаны тащат яйца в обмен на папиросы. У него задание по заготовке яиц от населения, у нас – папиросы «Бокс», «Ракета» или «Прибой», «Норд». Очень редко

перепадал нам деликатес, употребляемый районным уполномоченным, «Дукат», «Казбек», но в любом случае обе стороны оставались довольны.

Если бы кто подумал или, паче чаяния, сказал тогда вслух, что операция с доской, гениально разработанная Юркой и с блеском выполненная мной, не что иное, как мелкое воровство, мы с Юркой искренне удивились и возмутились:

- Вы что? Какое воровство? Упаси бог воровать!

Но не надо думать, что ребяшня к Юрке тянулась из-за папирос. Это было бы глубокое заблуждение. Юрка – личность многогранная и притягивал к себе своей неоднозначностью. Он не только читал, курил и командовал. Его руки постоянно мастерили интересные вещи. То корзину плетёт, то кнут вьёт, то черенок узорчатый к плётке, то наган делает. Так что окоп – не штаб, не курилка, но творческая мастерская.

Так вот про наган. Тётка Саша Сидякина, уезжая из Егорьевки чуть ли не в самую Москву, дом свой, на краю Миловки стоявший, продала дом. Сруб быстро разобрали, увезли. Каменное подполье разобрать не сразу успели, оно некоторое время оставалось открытым. Ребяшки срочно туда - клад искать. Дом старинный, а чем старше, тем, ясное дело, загадочней. Должны же быть в нём какие-то тайны захоронения: монеты старинные, крестики там, а то и украшения из золота и серебра? А ведь и правда нашли! В каменной стене лежал покрытый пылью революционных лет увесистый свёрток. Развернули и обомлели! Наган! Настоящий, жирно смазанный ружейным маслом. К нему коробка боевых патронов. Наган взрослым отдали, патроны по карманам успели рассовать.

Сидит теперь Юрка в своём окопе, патроны потрошит. Аккуратно выковыривает пули, порох на газету ссыпает, гильзы с капсюлями бросает в костёр. Перед ним лежит самодельный «наган». Ствол нагана представляет из себя обыкновенную трубку медную, которые на тракторах применяются. Сплюснутая с одного конца она с помощью колец прочно насажена на деревянную рукоятку. Для запала в трубке пропилено отверстие. Закончил Юрка разбирать патроны и говорит:

- Айда, Петька, из нагана стрелять.

- Айда.

Вдоль берега речки, рассекая высокие заросли лопухов, крапивы, полыни, козловика, надёжно укрывая путников, вьётся узкая тропинка. Напротив нашего огорода, где три ветлы буйно

разметали свои мощные кроны, мы облюбовали одно из деревьев в качестве мишени. Начали готовиться к стрельбе. Юрка деловито отмерил от дерева десять шагов. Засыпал в ствол «нагана» чёрный зернистый порох, вставил в него настоящую пулю, зажмурил левый глаз, прицелился, поднёс зажженную спичку. Раздался оглушительный звук выстрела! Казалось, его услышала вся Егорьевка, вздрогнула и со всех своих концов устремила к месту происшествия. Вот-вот сбегутся люди и увидят наше геройство. В ушах звон стоял, сердце заячьим хвостом затрепетало, в ноздри ударило пороховой гарью. Бежим к дереву. Смотрим. Пуля пробила толстую кору и целиком ушла в древесину.

- Вот это да! – торжествует Юрка. – Во, гад, бьёт!

Трепеща и волнуясь, я выслушиваю юркины наставления по части прицельной стрельбы, торопливо, чтобы народ не застал, стреляю. Руку резко отбрасывает назад, «наган» падает из детской ладони на землю.

Так состоялось и обошлось благополучно моё первое знакомство с порохом. Странно только. Так грохотало! Вся Егорьевка, наверное, тряслась. Ни один не прибежал!

«НА КИНО»

В сороковых и середине пятидесятых годов огромным спросом в деревне пользовалось кино. В годы войны – немое. На кино (так говорили), как на встречу с чудом, приходила вся деревня на выгреб. Кроме дряхлых стариков и больных. Известие о том, что «кино привезли» облетало деревню с быстротой молнии. Не успеет киношник Сарбай с телеги в клуб перетаскать обшарпанные атрибуты кинопередвижки – ребятишки тут как тут. Самые бойкие и предприимчивые договариваются ручку крутить. Кто договорился, считай, кино будет смотреть бесплатно. Но таких счастливчиков два-три. Остальные начинают решать сложную задачку проникновения в зрительный зал. Денег на билет у ребятишек, можете понять, никогда не было. Они и у взрослых не всегда густо водились. Жалобно скуля, ребятишки начинали клянчить у матери яйца – натуроплату за вход в кино. Яйцами киношник не брезговал. На худой конец, если уж не нашлось яиц, так и быть, давай стакан семечек и заходи. Так ведь и натуроплатой располагали далеко не все.

Значительная часть малолетних зрителей вынуждена была «на кино ходить» неисповедимыми путями. Самых маленьких старшие

братья и сёстры просовывали и зашвыривали в помещение клуба через разбитое окно. Другие, побольше, воровато крутились в дверях под ногами киношника, подстерегая миг своей удачи. Стоило тому зазеваться, ослабить бдительность, зритель проскальзывал в зал незаметно между ног. И, наконец, избранный круг самых пронырливых сорванцов пользовался неизвестной для других тайной лазейкой через наружный проруб в подполье, а оттуда через отверстие суфлёрской будки на сцену. Так или иначе, к началу сеанса клуб набивался до отказа. Притом ни одна душа не оставалась на улице. Начиналось кино.

Керосиновую лампу задували. Зал погружался в темноту. Вольнонаёмные начинали крутить рукоятку аппарата установленного в центре зала. Раздавался характерный шелест киноленты, треск шестерёнок, по экрану пробегали сначала жёлтые пятна, мелькали какие-то полосы, кляксы и ,наконец, появились и начинали мельтешить изображения людей. Они бежали, размахивали руками, разевали рты, жестикулировали. Там вдруг поднимались столбы огня, пыли и дыма, на воздух взлетали обломки взорванных предметов. На экране кипела не всем понятная, хотя и очень динамичная жизнь. Кто умел читать и успевал схватывать смысл коротких надписей, тот мог даже понять, что к чему. Большинство же зрителей довольствовались прелестью живых картинок самих по себе, не вникая в сложный мир взаимных связей и логики изображаемых событий.

Иногда происходящее на экране комментировал сам Сарбай. Черноволосый, сухой и поджарый, киношник был татаринотом горячего темперамента. Вот показывают, как партизаны взрывают железнодорожный состав. Вагоны с боевой техникой и людьми летят под откос. Сарбай кричит:

- Сматри! Сматри! Вшивый фриц на той света пошла! Так её и надо! Падла!!

Кинопленка часто обрывалась. Взрослые начинали ругать киномеханика. Тот огрызался, матерясь «в плента мать» и перематывал её заново.

Где-то к концу сороковых появилось в деревне звуковое кино. Это тебе не то, что немое. Люди на экране, как живые, разговаривают. А музыка!

В те годы я одно время записывал в тетрадь названия увиденных фильмов. Думаю, зрителям послевоенных лет они напоминают о многом. Перечислю некоторые из них по памяти: «Трактористы», «Котовский», «Чапаев», «Депутат Балтики», «Два бойца», «Секретарь

райкома», «Свинарка и пастух», «Жди меня», «Воздушный тихоход», «Свадьба с приданым», «Сталинградская битва», «Падение Берлина», «Цирк», «Они защищали Родину», «Кубанские казаки», «Сельская учительница», «Звезда».

Артистов: Орлову, Утёсова, Бабочкина, Марецкую, Ладынину, Андреева, Бернеса, Крючкова, Кадочникова, Черкасова, Олейникова – знал каждый школьник.

На мой взгляд - это была пора яркого расцвета советского киноискусства. Фильмы тех лет были добрыми, простыми и светлыми. Такие же чувства они будили у зрителей.

ГРАНАТА

На другой день киномеханик складывал своё хозяйство в телегу и по своему кочевому графику уезжал в одну из соседних деревень. Мы с Серёжкой Вериним у крыльца клуба подбирали обрывки киноленты, которые в виде отходов в большом количестве выбрасывал Сарбай. Куски ленты были настолько велики, что даже детскую голову наталкивали на грустные размышления. Если везде по столько выкидывать, то что останется показывать в последней деревне? Не зря каждая деревня об одном и том же фильме судит в меру его усечённости.

Применялась в те годы широкая плёнка, которая воспламенялась и горела как порох. Мелко нарезанная кусочками этой плёнки мы набивали пузырёк – получалась граната.

Весной с Серёжкой мы играли в такие гранаты у нас на огороде. Около тополей недалеко от речки. Навсегда запомнился мне один случай. Я хорошенько набил плёнкой гранёный флакончик из-под одеколона «Сирень». Достал спички, приготовил винтовую пробку и начал поджигать. Чиркнул спичкой и тут же сунул её в горлышко пузырька, готовый сразу же, как говорится, завинтить крышку и метнуть гранату подальше от себя. Я зажигал спичку за спичкой, совал огонь в пузырёк, один раз даже завинтил крышку и бросил гранату. Не взорвалась. Плёнка почему-то не загорелась, а спички быстро затухали. Я настолько увлёкся процессом запала, что утратил всякую осторожность. Когда плёнка, наконец-то, загорелась и из горлышка заструился дымок, я на секунду замешкался, соображая, что же делать дальше. И только успел завернуть пробку – раздался мощный взрыв! Я получил нокаутирующий удар в грудь и потерял сознание.

Очнулся, лёжа на спине. Встал. Осмотрелся. Вижу: по рукам течёт кровь. Серёжка с застывшим ужасом в глазах, бледный и дрожащий, стоит рядом. Не долго думая, мы побежали к речке. Меня колотила дрожь. Наклонившись над водой, я увидел своё отражение и испугался пуще прежнего. Лицо было залито кровью. Дрожащими руками я начал черпать воду и плескать себе в лицо. Холодная вода быстро остановила кровотечение. На вымытой коже рук и лица появились следы стеклянных осколков – десяти крупных и мелких порезов и царапин. Но все части рук и головы были на месте. От души немного отлегло, а когда большой страх остался позади, начали совещаться:

- Что теперь дома сказать?
- Скажи – кошка поцарапала, - учит Серёжка.
- Скажу – кошка, - соглашаюсь.

Но дома разговор получился непредвиденный.

- Ты это чего за стол в варежках садишься? – спрашивает мать.
- Кошка руки исцарапала.
- Ба! А лицо? У тебя и лицо то всё в царапинах и порезах!
- Граната взорвалась! – невольно вырвалось у меня.

У матери опустились руки. Она заплакала и сквозь слёзы начала меня отчитывать:

- Что же мне с тобой делать? Совсем от рук отбиваешься! Что же мне делать?

- Вот придёт отец, всё ему расскажу, всё! Он тебе покажет граната, вояка! Он тебе даст! Аника-воин нашёлся! То он с Серёжкой, то с Генкой дерётся, весь в синяках и царапинах ходит, то теперь вот ещё граната какая-то! Аника-воин и есть!

Всё бы стерпел и отцу расскажет – не так страшно. Только бы Аникой не обзывала. Откуда она взяла этого противного Анику? Прозвище нашла!

Но в тот раз всё на том выговоре и закончилось. Мать и отцу ничего не рассказала и про Анику забыла.

«ЖЕНИХ»

В вербное воскресенье девчонки и мальчишки собрались в Левашовке и не торопясь, взявшись под руки, с песней шагают рядом по улице.

«Что стоишь, качаясь,
Горькая рябина?»

Это они на колхозный огород за вербой собрались. Услышал я песню и выглянул в окно. Хотел бы я знать, кто из сверстников, увидев такое, усидел дома? Таких нет, не бывало, потому что и быть не могло. Увидел и, сломя голову, засобирался на улицу.

- Где шапка, фуфайка, носки? Лапти где?

- Лапти твои совсем развалились. Новые надо покупать.

- Эх, ты! Чего я на ноги надену?

- Нечего надевать. Вон разве только галоши отцовы. Больше ничего нет.

- Давай калоши!

Одиннадцатого размера галоши с отцовских чёсанок я примерил на свою одиннадцатилетнюю ногу в шерстяном носке. Нога занимала примерно половину длины обуви. Чтобы не слетела с ноги, я туго привязал их мочалками. Пойдёт! Бедному все сапоги по ноге. Шаркая галошами, побежал догонять вдоль улицы своих.

С края рядка шла Нинка Крылова. Я поравнялся с цепочкой, выверил свой шаг со всеми в ногу и галантно взял Нинку под локоток. На мои галоши никто и внимания не обращал. В группе в этот момент велась светская беседа вокруг злободневных вопросов: у кого корова отелилась, сколько овечек объегнилось, несут ли гуси яйца? Мне было, что сказать на эту тему. У нас и корова отелилась, и гуси начали нестись.

Включившись на равных в столь деловой разговор, впервые шагая по улице под руку с девчонкой, я почувствовал себя, куда каким взрослым ухажером. В таких случаях говорят: всякая букашка лезет в козявки или наоборот - козявка в букашки. Грудь выпятил, нос задрал и гордо вознёсся душой на жуткую высоту. Ноги тем временем, не отрываясь от снежной тропы, словно лыжами скользили отцовскими галошами. Пустые задки галош в такт прихлопывали: хлоп-хлоп, хлоп-хлоп.

Снял меня с седьмого неба и шмякнул о грешную землю Иван Сергеевич Растатурин. Он шёл откуда-то нам навстречу. Под хмельком, навеселе. Узнал меня, остановился, впери мутный взгляд в мои галоши и вдруг раскатисто заржал на всю деревню:

- Вот так Петька! Ха-ха-ха! Вот так жених! Ха-ха-ха!

Вся шеренга честной компании вдруг остановилась, уставилась на мои галоши. И захихикала, и засмеялась: «Хи-хи-хи! Хо-хо-хо! Ха-ха-ха!»

Мне не оставалось ничего другого, как провалиться сквозь землю со стыда.

С тех пор меня долго дразнили: «Нинкин жених идёт. Нинкин жених!»

ЛАГЕРЬ

Один раз в детской жизни мне крупно повезло. Летом того года я перешёл в четвёртый класс и отдыхал в пионерском лагере.

Путёвку в пионерский лагерь каким-то образом достал отец. Это я так думал, что достал, потому что ни один из егорьевских в пионерском лагере никогда не был. Таких путёвок нам муслюмовские дяди никогда не предлагали. В конце сороковых годов. А отец сумел. Он часто бывал в Муслюмове на различных там совещаниях, семинарах, заседаниях, конференциях, сессиях. Зная, как открываются двери в кабинет районных распорядителей, отец, видимо, осмелился попросить путёвку для себя, т.е. для своей семьи, а точнее – для меня. До того спросил:

- Поедешь, сынок, в пионерский лагерь?

Я не знал что это такое – пионерский лагерь и ответил, не задумываясь:

- Поеду.

Ехать всегда интересно.

Взял отец лошадь, запряг в старенький плетёный тарантас, бросил под зад охапку луговой травы и мы поехали. Путешествие оказалось впечатляющим. Миновали большое село Чекмак, районную столицу Муслюмово, по плавающему бревенчатому мосту перебирались на правый берег Ика. Берег оказался лесистым. Лес встретил прохладой, запахами грибов, поскрипыванием деревьев, постукиванием дятла, манящими посвистами лесной кикиморы-невидимки иволги. Лес меня, степное дитя, завораживал и настораживал одновременно. Погоняя лошадку по лесной дорожке, отец время от времени подстёгивал её вожжей по вспотевшему боку и присвистывая при этом на манер иволги.

Вскоре мы очутились в живописном местечке, где в окружении соснового бора затерялась небольшая татарская деревушка. Рядом с деревней и находился лагерь.

Лагерь представлял собой довольно просторный зелёный двор, в центре которого бросался в глаза высокий шест. На тонкой вершине шеста высоко в небе полоскался красный флаг. Рядом с шестом была перекладина-турник. Слева от ворот стоял рубленый из сосновых брёвен добротный пятистенный дом – спальный корпус. Там стояли

кровати для пионеров. В одной половине для мальчиков, в другой – для девочек. Справа от ворот стоял домик поменьше. В нём размещались все службы лагеря: директор, пионервожатые, медработник и прочие.

В левом дальнем углу двора стоял навес. Под навесом размещалась кухня. Рядом с навесом под открытым небом стояли и скамейки. Грубой топорной работы деревянная столовая мебель была добела проскоблена косарем и безукоризненно чисто вымыта.

На крыльце административного домика, когда мы с отцом появились во дворе, сидел бабай в тюбетейке и играл на мандолине, наполняя атмосферу лагеря какой-то бесконечной заунывной старинной татарской мелодией.

Отец представил меня руководству лагеря, познакомил с пионервожатой и уехал. Я остался в сплошном окружении татарчат и немедленно был охвачен круговертью лагерной жизни по заведённому тут расписанию. Не зная языка, я не мог общаться со своими сверстниками и потому постоянно чувствовал себя в изоляции. Шёл туда и делал то, куда шли и делали остальные. Правда, один мальчишка – Баранов из Муслюмова – был русским. Но он оказался диковатым и страшно замкнутым малым. Так что поговорить мне было с не с кем.

По утрам мальчишка-горнист брал отливающую золотом трубу, выходил на крыльцо спального корпуса и сигналил подъём. По сигналу горниста малайки и кызымки вскакивали, одевались до пояса, брали полотенца и выбегали во двор. После небольшой зарядки бежали на речку умываться. Там в зарослях отыскивали мыльную траву. Разотрёшь цветы с водой в ладонях – появляется мыльная пена. В тихой заводи реки росли кувшинки, запах от зеленовато-прозрачной воды и прибрежных зарослей исходил необыкновенно приятный и освежающий. После зябкого умывания растирались полотенцами и бежали назад. Перед завтраком, взявшись за руки и припрыгивая с ноги на ногу, мы двигались по кругу и пели песни. Я тоже разевал рот и, хотя не ведал о чём пою, как попугай повторял звуки припева: «тумба-ира-тири-тур, тумба-ира-тири-тур...» Расскажи егорьевским про такой припев – засмеют и задразнят. Потом ели пшённую кашу, яйца, пили чай и строем шли в лес по ягоды. На полянах в сосняке можно было набрать земляники, а в смешанном лесу недалеко от реки находили обширные заросли кустарника дикой вишни. В лесу мы залезали на деревья,

обезьянничали, вили гнёзда из веток, ели мясистые сочные стебли моржовика (так его называл отец).

Под присмотром вожатого ходили купаться. Хотя купались в отведённом месте, но, как ни странно, течение в этом месте было быстрое, а отмель метрах в двух от берега заканчивалась глубоким обрывом. Плавал я ещё плохо. Один раз меня так подхватило течением и потащило в глубину, что еле выкарабкался.

По лесной тропе к месту купания, как оказалось, ходить было тоже опасно. Водились гадюки. Одну довольно большую змею ребяташки сняли с дерева, крона которого низко свисала прямо над тропой. Надо отдать должное умению и смелости мальчишки-змеелова, который сумел взять её и принести в лагерь. Змея долго лежала посреди двора на всеобщем обозрении. Парнишка деревянной рогулькой прижимал змеиную голову к земле, а тело её грозно извивалось и приводило в трепет пугливых девчонок. Потом ребяташки расчленили змею и выбросили на помойку.

Так день за днём прошла неделя. А в день моего рождения во время завтрака я увидел: к воротам лагеря подъехал на лошади отец. Вот он подвязывает поводья на столбе и направился ко мне. Я безумно обрадовался и тотчас выскочил из-за стола ему навстречу. Обнялись. Отец ласково потрепал меня по голове, поздравил с днём рождения, протянул кулёк домашней малины – гостинец матери, а от себя подарил перочинный нож. Счастью моему не было предела! Тут же побежал в лес, вырезал ножом из кленовой ветки трёхрогие вилы, обстрогал их. Словом, пустил нож в дело, так как ужасно хотелось показать подарок отца в действии.

- Ты знаешь, папаша, как я на турнике научился?

- Покажи, покажи.

Подбежал к перекладине, по столбу залез вверх, вцепился, приподнял ноги и выполнил переворот. Потом пропустил ноги между рук и сделал провисание. Отец за упражнение похвалил. Раздалась команда сбора.

- Ну ладно, сынок, мне пора. Отдыхай. Поправляйся. Слушайся пионервожатую. Построились пионеры и под барабанный бой зашагали в лес. Тяжело было под барабанный бой от отца уходить. К ногам как будто кирпичи привязали.

Возвратились из леса. Глядь, а лошадь отцова как стояла у ворот лагеря, так и стоит. Не уехал отец!

- А знаешь, - хвастаюсь ему, - нас вчера на весах взвешивали. Я поправился на один килограмм!

- Тебе здесь ещё три недели отдыхать, ещё на три поправишься.

Сунул я руку в карман пощупать нож. Внутри всё похолодело! Нет ножа! Смотрю на отца, хлопаю глазами, краснею, молчу.

- Что случилось? Не брюхо схватило? – заметил отец.

- Ножика нет, - еле выговорил я.

- Хый. Куда он денется? Где ты его мог посеять?

- Не знаю.

- Он, наверное, вылетел у тебя, когда ты на турнике крутился!

Айда посмотрим.

Стали искать под перекладиной, вокруг, по всему двору прошлись. Нет нигде.

- Ладно, Петь, может найдётся. Кто подобрал, потом отдаст, - утешал отец.

На крылечке бабай в тюбетейке опять бренчит на мандолине унылую мелодию.

- Поеду, пожалуй, - говорит отец.

Так мне стало тоскливо. И нож потерялся, и отец уезжает, и малайки вокруг непонятно что лопочут, и бабай с мандолиной. Наклонил голову, надулся, крепился-крепился, чтобы не заплакать и не выдержал, заревел:

- Домой хочу-у-у. Не хочу в лагере-е-е. Возьми меня домо-о-ой!!

Послушал отец мои причитания и говорит:

- Ладно, перестань. Собирайся. Поедем.

Я бросился собирать узелок. Не нужна иволге золотая клетка, лучше зелёная ветка. На том мой пионерский лагерь и закончился.

«ВОТ МОЯ НЕВЕСТА»

Домой с войны вернулся мой крёстный – Храмов Михаил. Он меня в шуганской церкви вместе с Клавдией Смолиной крестил. Коренастый. Широкоплечий. Чуб, как у Ворошилова, волнистый. Погоны золотые. На груди сияют и позвякивают ордена и медали. Ремни поскрипывают. Галифе расклешенные. Голенища хромовых сапог до блеска начищены и собраны в гармошку. Боевой офицер! Деревня, как водится, сбежалась смотреть. В избе шум, гам, радостное возбуждение, дым коромыслом. Родные и близкие за столом сидят, горькую по стаканам разливают, закусывают, виновника торжества вопросами закидывают. На каких фронтах служил? По каким местам прошёл? Не слышал ли про нашего? Не видал ли мово?

У порога ребяташки толкуются, глаза пялят, уши вострят: любопытно же.

- А! Это ты пришёл? – увидела меня Настя. – Ну-ка, иди-ка, иди-ка сюда, брательник. – Берёт меня за рукав и ведёт к столу. Настя сегодня заметно подобревшая, румяная, весёлая. Поставила меня напротив брата и говорит:

- Вот, посмотри, Миша, какой у тебя крестник-то большой вырос. Когда ты на войну-то уходил, он какой был? А сейчас вон какой?

- Ну иди, Петя, иди ближе, - зовёт крёстный. – Давай поздороваемся. Крестник всё же. Мама, налей-ка ему рюмочку! Во-о-от! На-ка! Выпей-ка, не бойся! Ничего не будет. Пей за нашу встречу! За победу! – и запел:

«Выпьем за Родину, выпьем за Сталина,
Выпьем и снова нальём!»

Пока он пел, уже не обращая на меня внимания, я эту рюмку горькой обжигающей и тошнотворной жидкости выпил до дна. Челюсть куда-то вкривь повело, глаза из орбит вон полезли, дух перехватило.

- Закуси-ка на, - суёт мне Настя в рот помидорку. Съел и побежал во двор, на чистый воздух. Через несколько минут по телу завеселевшая кровь забродила, захотелось петь, плясать, прыгать, бегать. Буйной радостью охваченный, ударил через овражек к клубу. Там на лужайке резвилась стайка миловских и левашовских девчонок и мальчишек. В догонялки играли. С ходу ворвался в их игру, не соблюдая никаких правил. Нечленораздельно крича, начал бегать за девчонками. То за



Нина в молодости.

Рисунок автора.

одной, то за другой. Я за ними, они от меня. Бегал за Нинкой Муриновой и вдруг, сам того не соображая, начал выкрикивать, как заклинание: «Вот моя невеста! Вот моя невеста!»

Я не фаталист и никогда не верил в предопределение, в рок. Но позвольте вам задать вопрос, почему выкрики подвыпившего дитя, как бред юродивого, оказались пророческими? Вот и думай, что к чему. Раньше, когда мне задавали вопрос насчёт существования судьбы, я решительно отвечал: «Нет!»

Теперь, оглядываясь назад, я бы прежде, чем ответить на такой вопрос,

почесал затылок. Через тринадцать лет после той беготни мы сыграли свадьбу. Бред оказался «в руку».

ХОДЯЧИЕ ЛОЗУНГИ. БУДЁНОВКА

Вскоре после войны сестра Лиза познакомилась с капитаном Егоровым. Отправленный из армии в тыл по ранению, капитан работал в военкомате. В районе он пробыл недолго, а после отъезда атаковал сестру любовными посланиями. Почтальонка ежедневно приносила то письмо, то открытку, то телеграмму. Начинённые самыми нежными, самыми сердечными и ласковыми словами, какие

только водятся в русском языке, они как сладкие снаряды разрывались в груди Лизаветы и провоцировали на ответное чувство. Через несколько месяцев штурм капитана увенчался полной победой. Сестра выбросила белый флаг капитуляции, собрала приданое, которое размещалось в одном чемодане и очутилась замужем. Жили с Алексеем Михайловичем сначала в Красноармейске Чувашии, а затем переехали в Москву, на родину капитана.

Время от времени Алексей Михайлович и Лиза присылали нам из Москвы посылки. Они не понаслышке знали, как бедствовала наша семья, и зять, не лишённый чувства сострадания, поддерживал нас, чем мог. Они, верно, и само-то не ахти там жили, но всё же не сравнить с егорьевской нищетой. В те времена Москва была, как Москва. В посылках были и конфеты, и селёдка, и шурупы, и подшивка журнала «Смена» или «Мурзилка». Было даже туалетное мыло, приносящее нам аромат какой-то далёкой, сказочной, неземной цивилизации.

В одной из посылок был новый шлем-будёновка со звездой, алюминиевая чернильница с винтовой крышкой и несколько метров красного, бывшего в употреблении, ситца. Алексей с Лизой жили тогда прямо на территории ЦПКиО им. Горького. Там он и подобрал куски этого ситца, подлежащего списанию, после празднования 1 Мая. Это были старые транспаранты, на которых отчётливо проступали несмываемые следы лозунгов «Слава ВКПБ!», «Да здравствует товарищ Сталин!» и т.п.

Мать, недолго думая, сшила мне и Мишке из этой плакатной материи несколько косовороток. Ни у кого в мире не было таких рубах! На груди косоворотки, скажем, были видны буквы «ВКП», а на спине «Слава». Так мы, как ходячие партийные лозунги, и бегали по егорьевским улицам. Большевиков славили и быков дразнили.

Мишке особенно наш бычок никакого прохода не давал. Как увидит его в красной рубахе во дворе, так на него бодаться. Раза два мял его, ладно ещё безрогим лбом. Закричит Мишка благим матом-мать к окну:

- Матушки! Опять его бык пыряет! – и с ухватом наперевес бежит ему на выручку.

У шлема своя история.

По утрам, как только я переступал порог школы, с возгласом: «А! На пипу! Московская селёдка! И-и-го-го!» - на меня набрасывается Мишка Фомичёв. Вспрыгивал на меня верхом, зубами захватывал макушку шлема и начинал по-щенячьи трепать её и

жевать. Он старше меня на два года и, естественно, сильнее. Сколько я ни отбивался, он меня в пипку моего шлема преследовал изо дня в день. Недели две на мне ездил.

Наконец пипку шлема он всё-таки отгрыз, но по привычке продолжал набрасываться на меня, впиваться зубами в изорванную макушку шлема.

- Отстань, Фомич, чё лезешь? Пал Михалычу скажу! – чуть не плача пытаюсь избавиться от этого систематического гнёта. Мишка не отставал, истязания продолжались. Пришлось принимать чрезвычайные меры безопасности.

Я не стал жаловаться Пал Михалычу. Договорился с Серёжкой Вериним и Лёлькой Лошкарёвым совместными усилиями отлупить Мишку по дороге из школы. Всем по пути. Все левашовские. У нас с Серёжкой холщовые сумки, у Лельки – фанерный чемоданчик с металлическими уголками. Ушли вперёд, ждём, когда Мишка с нашим домом поравняется. Дождались, к себе подманили, в сугроб повалили, и давай сумками колотить.

- Будешь, гад, приставать?! А? Будешь?!

Как он не извивался ужом, как не пытался обороняться - крепко ему досталось. Понурый, в снегу вываленный, побрёл пришибленный Мишка домой. С тех пор всю его спесь как рукой сняло. Шлем, правда, скоро пришлось выбросить, как не подлежащий капитальному ремонту.

НЕЗАЖИВАЮЩИЕ ШИШКИ

Мы выгуливались на синяках и шишках. Сколько их бывало?! Бегал за бабочкой по сухой стерне. Насквозь пропорол стопу полынным пеньком. Нарыв. Угроза заражения крови. Операция.

В ветвях тополя застряла кепка. Пытался сбить её увесистой палкой. Она вернулась мне на голову. Пролом. Кровь. Шрам.

С Юркой Симоновым подбрасывали вверх и ловили, кто вперёд успеет, мячик. Юрка подставлял тазик (шёл в баню), я – руками. Мой лоб и юркин тазик встретились в точке пересечения с траекторией мяча. Тазику хоть бы что! Лоб рассечён! Шрам на всю оставшуюся..

Спрыгнул из окна в палисадник. Приземлился, припав на колено. Два ржавых гвоздя, торчащие в траве из невидимой рейки - в ногу ниже колена. Заражение. Нарыв. Шрамы до сих пор.

Прыгали с элеваторных мостков в кучу соломы. Угодил мимо. Стукнулся подбородком о колено. Когда прикусил пол-языка,

сообразил - надо язык держать за зубами. Сорвался с турника на утрамбованную землю. Потерял сознание...

Можно было бы и дальше перечислять все свои синяки, ожоги и шишки. Делать этого, пожалуй, не следует. Подобные мелочи жизни смешно вспоминать. Я бы о них совсем не вспомнил, если бы они сами собой откладывались в памяти генов, вносили коррективы в программу усовершенствования потомков. К сожалению, похоже, такой опыт по наследству не передаётся. Шишек и фонарей у внуков и правнуков набирается не меньше, чем у дедов и прадедов. Потомки продолжают квасить носы, прикусывать языки и ронять своё брненное тело там, где нет соломы.

Так уж видно устроена кем-то жизнь, что каждый, кто появился в ней на этом свете, непременно сам должен испытать на себе определённую порцию ударов, пройти школу собственных просчётов и ошибок.

Внукам не нужна революция дедов. У внуков должна быть революция своя! Каждому поколению – свою революцию! Именно так развиваются события сегодня в бывшем Союзе. Отражаются ли мелкие ошибки на развитии генофонда, влияют ли на подсознание наследников? Кто его знает? Невооружённым глазом не видно. Видно одно: опыт истории мало чему учит. Или игнорируется и забывается, или попросту не пользуется спросом. «Подумаешь, что там глупые предки переживали когда-то! Мы и сами с усами!» И всё повторяется заново.

Тем не менее, на опыте истории даже отдельно взятой деревушки Ново-Егорьевки, поучиться есть чему.

История Егорьевки не знает ни одного случая умышленного убийства, ни одного случая крупного воровства. Замков Егорьевка не признавала, не запиралась в избах, не держала под замком своё личное хозяйство. Отношения между людьми строились на какой-то прочной смеси христианской и провозглашаемой коммунистической моралей. Они держались на немногословном общественном мнении. Главным носителем его были старшие. Но я далёк от того, чтобы представлять свою деревню в розовом свете, идеализировать её уклад. Нет. Там было всякое.

Одну из общечеловеческих ценностей, выработанную веками - бережное отношение к ближнему, например ежедневно нарушал мой сосед Петька Чучканов.

Петька рос толковым мастеровым человеком, надёжным в дружбе и беспощадным во вражде. Не лишён был добрых

мальчишеских помыслов и стремлений, неплохо играл на гитаре, сам, своими руками, не имея на то никакого опыта, дерзнул сделать из подручных материалов балалайку. Для начала неплохо и получилось. К нему тянулись сверстники, его уважали за мужскую сдержанность, твёрдый и жёсткий характер. Узкое его лицо, по-восточному приподнятые к вискам края глаз были с детства отмечены печатью хищного холодка и постоянной настороженности.

Одно время семья Чучкановых жила в соседях с нами. Без отца тётя Дуня воспитала троих детей – Петьку, Генку и Нинку. Когда тётя Дуня уходила на работу, Петька оставался за старшего и начинал командовать Генкой. Сначала слышались команды и окрики, а за ними следовали вопли и душераздирающие крики, завершающиеся длительным жалобным стенанием и плачем. Так Петька воспитывал Генку. За что он его преследовал – одному богу известно. У сильного всегда бессильный виноват. Истязал он братца систематически и беспощадно. Лупил чем попало: палкой так палкой, лопатой так лопатой. Кричит Генка, маму зовёт, а мама того не видит и не слышит.

Чтобы помочь Генке и отомстить за него, мы с Генкой Долининым от колодца с нашего двора бросили в Петьку по камню. Петька отстал от братца и тут же бросился за нами. Мы через сарай начали отступление. Ухватился Генка за перекладину, повис, готовый спрыгнуть к себе во двор. В этом положении его и настиг Петькин камень. Чуть не полкирпича угодило Генке в голову. Облился Генка кровью и взвыл отчаянно. Услышав его рёв, Петька уgomонился и преследовать нас дальше не стал.

Позже к жестокому и крутому характеру Петьки приобщилась выпивка, и Петьку стали считать очень опасным человеком. Спиртное его ожесточало ещё больше. В нетрезвом состоянии он и влип в уголовное дело с поножовщиной, будучи учеником ФЗУ. С тех пор редко появлялся на свободе из мест её лишения. Где по закону, а где по накатанному следу он быстро угождал снова за решётку. И всё-таки, я считаю, что жизнь обошлась с ним несправедливо круто. Все его ошибки и прегрешения, всё его небрежное отношение к близким исправил бы сама Егорьевка, если бы он остался в деревне, а деревня осталась на земле. Все его недуги предупредила и исцелила бы она. В нём всё-таки было от природы заложено больше положительных качеств. Он был умён, трудолюбив и не лишён отзывчивости. Другу он мог отдать последнее. У меня не поворачивается язык назвать его рецидивистом.

У брата его Генки судьба сложилась тоже незавидно. Вскоре после службы в армии он помешался и с больной психикой влачит теперь жалкое существование.

Говорят, когда Петька бывает на воле, он живёт с Генкой в рабочем посёлке Актюбинский и сильно его жалеет. Но некоторые ошибки бывают непоправимыми. Ни жалость, ни раскаяние, никакие другие эмоции теперь уж не помогут.

Научиться бы закладывать наши ошибки в генетическую программу. Тогда появилась бы уверенность, что хоть в этом смысле жизнь прожил не зря. А передать в наследство есть что.

БРАЖНИКИ

В праздник Пресвятой Троицы гурьбой отправлялись в удобновский лес. Со всех улиц нарядно одетые девчонки и мальчишки собирались вместе и, взявшись за руки, вдоль Балтаевского оврага с песнями шли в своеобразный культпоход.

Троица – земля травой кроется.

Праздничные гулянья в день Троицы были насыщены поэтическим духом цветущей природы, ласковым прикосновением к нежной молодой зелени. Песни тоже, казалось, были пропитаны лирикой весеннего благоухания под стать изумрудной зелени и бездонному голубому небу.

« Под окном черёмуха колышется,
Распуская лепестки свои.
За рекой знакомый голос слышится,
И поют всю ночь соловьи».

В лесу собирали букеты цветов, плели венки, выкапывали и ели саранки, ломали берёзовые ветки для украшения избы, наслаждались лесными ароматами, красотой растений и соловьиным пением.

Иногда заходили в саму Удобновку. Там у многих жили родственники, знакомые сверстники. Там Троица была престольным праздником, к которому готовились широко и щедро: ставили брагу, затевали тесто из лучшей муки, пекли кренделя, пироги и пышки. Конечно когда было из чего печь.

В Удобновке жил мой двоюродный брат, холостой в то время. Ежов Николай. У Шурки Ухова там жила тётка, двоюродные сёстры. И так у многих. Соседние деревни между собой роднились давно. Удобновские выходили замуж за егорьевских и наоборот. Гостеприимства удобновцам не занимать. И напоят, и накормят, и

спать уложат. Выпить-то они и сами не дураки были. Было бы с кем. Угощали всех без разбора: старых и малых. «Пей! Ну-ка, давай пей, всё пей! Кто за тебя допивать будет?» Так припрут к стене – не хочешь, будешь пить. Никаких запретов на выпивку в отношении детей и подростков не существовало. Святая простота? Или дремучее невежество? Скорее всего и то, и другое.

Про удобновское брагопитие я ещё расскажу после. А сейчас кстати будет о престольном празднике в Егорьевке.

Таким праздником в родной деревне был Покров.

Из всех престольных праздников Покров для крестьянина был самым подходящим и уместным. Не зря последний советский праздник – День работника сельского хозяйства – почти совпал по времени с Покровом. Именно середина октября замыкает собой круг сельскохозяйственного года. Закончены уборка урожая, осенний сев, заготовка кормов, вспашка зяби – все полевые работы. Бабки подбиты, результаты года в сусеках и в погребах. Самое время дать себе разрядку и отдохнуть. Тут и праздник Покрова очень кстати.

Покров день почти всегда был по-осеннему пасмурный, тёплый и тихий. Деревня в канун праздника тоже казалась притихшей. Ни движения, ни шума лишнего, кроме петушиного крика. Над каждой избушкой дымок. Печка топится. Пекут хлебы, курники, пироги разные: с калиной, с капустой, с морковью, с маком, луковники, плюшки, ватрушки. Иногда бывали пироги с рыбой: лещом, щукой, сомом. Рыбу покупали у чекмакских рыбаков.

Недели за две-три до престольного в трёхведёрном дубовом бочонке на печи начинала пыхтеть и пузыриться хмельная брага. На разведку приходила соседка тётя Дуня.

- Наташ, а ты, сколько сахару-то в брагу кладёшь? – спрашивает.

- На четверть – килограмм.

- А я-то чё наделала?

- Чего?

- Дак, видимо, мало сахару-то положила. Попробовала счас – не больно.

- Давай мою попробываем.

Нацедила мать в ковшик беловатую игристую муть с лепестками хмеля, подаёт тёте Дуне:

- На-ка, выпей-ка.

Выпила тётя Дуня и оценила:

- У-у-у! Кака ядрёна! Сразу в голову!... Ну, ладно. Заболталась я с тобой. Побегу. А то хлеб не сгорел бы. Пьяная-а-а!

Ушла тётя Дуня, а мать вслух размышляет:

- Что это сестрица про сахар-то спрашивала? Что уж теперь? Когда впрягать, тогда лягать.

Приятные хлопоты по подготовке к Покрову, ожидание гостей приподнимали настроение и заметно оживляли отношения между домочадцами. Отец заносил в избу кизяки, воду, выносил помои и картошку для поросёнка, давал корове и овцам корм, убирал навоз, менял подстилку. Мать в чулане ощипывала и палила тушку гуся, успевала управляться кочергой, ухватом и лопатой. Котёнок, поднимая пух, играл с гусиными перьями. В избе стоял дух зрелой браги, распаренной калины, гусятних потрохов, палёного пера и печёного хлеба. Отец с матерью переговаривались:

- Приедут, нет ли из Воскресенки? А может кто из Шерламы надумает?

- Вряд ли. Больно дорога грязная. Кому охота в такую?

- Приедут, думаю. Часам к десяти завтра появятся. Миша-то обязательно обещался.

- Ванюшка Ухов к себе звал. Говорю, сами гостей ждём. Приходите, мол, с гостями. А я говорю, сначала к нам айдате.

- Пимен Михайлович с Катей придут, Минька Галинkin с ними...

- Пусть идут. Всем места хватит. Сначала у нас посидим, а дальше видно будет.

Деревня в праздники разбивалась на несколько групп-компаний. Человек по двадцать. По признакам родства, кумовства, сватовства и соседства. Столы накрывали с утра. Стол считался тем богаче, чем больше на нём выпечки. Весь стол заставляли пирогами да пышками. Это когда получше жить стали. Вместе с тем была и другая закуска: солёная капуста с огурцами, помидоры, грибы. В центре стола стоял обычно большой, круглый курник. Подавали также лапшу, кашу с маслом.

Ведро с брагой стояло на табуретке или скамье под рукой хозяина. Стаканов и кружек для каждого не хватало. Пили из одного-двух по очереди. Строго следили за тем, как бы кого не обнести. Не приведи господь! Обнос рассматривался как страшное оскорбление и мог закончиться скандалом и разрывом всяких отношений. В то же время тянуть руку к стакану считалось тоже неприличным. Больше того, по старому этикету принято было демонстрировать полное пренебрежение к спиртному, не принимая в руки стакана, отмахиваться, отнекиваться. Одним словом, гость скромничал,

ломался для приличия. Не так, чтобы уж совсем, но... не положено было с жадностью хватать стакан и пить. Так заведено было.

Тут-то как раз от хозяина и требовалось показать своё умение угощать. Поднося стакан, хозяину надо было расположить к себе гостя улыбкой, уместным словом, шуткой, капризное желание гостя выполнить.

- Как хозяин, так и я! – ставит условие какая-нибудь кума или сватья. И приходится хозяину пить, чтобы пример показать.

- А-а! С ней выпил, а со мной не хочешь?! – разыгрывает другая.

Угощать умел Иван Сергеевич. Точнее – заставлял пить. Ни один не уйдёт от него трезвым.

- Пей! Или за ворот вылью! – и выливал, были случаи! – Ты что, меня не уважаешь?

- Уважаю, Иван Сергеевич! Как не уважать?

- Тогда пей до дна!

И ведь до тех пор не отстанет, пока на своём не настоит. Это и считалось искусством угощать. Правда, заставляя других, он сам достойный пример показывал. Пил, пока на ногах держался.

Минька Галинин после первой чашки сразу – неожиданно для застолья – запевал решительно и громко. Несозревшую для пения компанию запевала обескураживал. Люди ещё выпить не успели, рты не опростали, а он за песню. Жуют, смотрят на него, как на белую ворону. Мол, что это с ним? А запевала в раж входит. Поднатужился до побагровения, жилы на висках и шее вздулись, взгляд в потолок устремился и высоким голосом выводит:

«Вы не вейтесь, русые кудри,
Над моею буйной головой...»

Так самозабвенно и заразительно поёт, что компания быстро подхватывает и произвольно начинает подпевать. Вскоре песня гремит во всю егорьевскую, печка вздрагивает, стены тесной избушки вибрируют, особенно когда в песню вступает мощный тенор дяди Ивана Ухова. Не допев до конца одну, начинают другую.

«Разлука ты разлука, чужая сторона.

Никто нас не разлучит,

Ни солнце, ни луна.

Одна лишь нас разлучит

Лишь мать – сыра земля.

Зачем нам разлучаться?

Зачем в разлуке жить?

Не проще ль обвенчаться

И счастьем дорожить».

Потом кто-то крикнет: «Хватит петь! Айда плясать!» Дядя Пимен берёт балалайку, начинает бренчать «барыню». Все поднимаются из-за стола и враз пускаются в пляс. Один припрыгивает, другой дробит, третий приседает, четвёртый плавно двигается, раскинув руки. Кто-то припевает и выкрикивает: «Эх, где мои семнадцать лет?!» Доски на полу прогибаются, подозрительно скрипят, голландка тоже словно пьяная ходит, вот-вот рассыпется.

Приходят захребетники – любители выпить за чужой счёт, на дармовщинку, на халяву, теперь говорят. Они своей браги не варят, пирогов не пекут, гостей не приглашают. В разгар застолья появится вдруг такой гость у порога, стоит и ждёт, когда хлебосольный хозяин обратит на него внимание и поднесёт чашку хмельной.

- Выпей, Иван Алексеевич, в честь Покрова дня.

- Нет, нет, Кирилл Игнатьевич! Я ведь так зашёл. Спросить. Иду мимо. Дай думаю зайду, спрошу... А тут вишь, гости у тебя... нет, нет... Ну... разве что единую, чтобы дома не журились.

Компания гуляет, веселится, пляшет, а Иван выпьет, почмокает губами, вытрет рукавом беззубый рот и будет дальше стоять, ждать, когда ещё подадут. Потом изрядно забалдевший, руки назад, рыжую головёнку кверху, пойдёт по деревне, жестикулируя, останавливаясь посреди улицы, о чём то многозначительно бормоча. По пути найдёт, где другая компания. И так смотришь, досыта набражничается.

- Гости дорогие, теперь айдате к нам. Спасибо этому дому, пойдём к другому! Собирайтесь! – приглашает очередная хозяйка в следующий двор.

Выходят гости на крыльцо, пошатываясь, с песнями. Тут поёт каждый своё. Кто в лес, кто по дрова. Всё криво, всё косо, смешно и весело. Собрались у ворот, взялись под руки и вдоль, да по деревне с песней к Вериным. От Вериных к Уховым, от Уховых к Храмовым. Неся потери в живой силе – кто у Вериных под столом, кто у Уховых на сундуке, кто у Храмовых в сенцах упал и лежать остался...

На престольный многие родственники из других деревень к своим приезжали. Бывало кто-то и с гармонью приедет. Ходят по Егорьевке компании, песни поют, иногда в клуб ввалятся. В клубе в этот день, в основном, молодёжь собиралась. Помню, однажды открывается дверь настежь - впереди тётка Саня Староверова, за ней тётка Дуня Луконина, гость с гармонью и вся честная компания. Тётка Саня руками над головой кренделя рисует, пальцами прищёлкивает и залихватски поёт «Располным - полна моя

коробочка, есть там ситец и парча...» Тётка по кругу пошла, частушками залилась:

«Вот и кончилась война,

Я осталась одна.

Я и лошадь, я и бык,

Я и баба, и мужик».

Где наша не пропадала! Скотина и ребятишки в этот день брошены на произвол. Благо – праздничной вкусной еды на столах остаётся – ешь от пуза. Ребятишки на Покров день тоже кучкуются. У них свой базар.

Ванька Староверов, Мишка Фомичёв, Серёжка Верин и я собрались у Вериных, когда гости в Миловку ушли. Нацедил Серёжка из бочонка по одной кружке браги. Выпили. Пошли к Мишке Фомичёву. Там по стакану выпили. Марфа – мишкина мать – брагу злую делала, говорили, чуть ли не с нюхалкой. Чтобы поменьше с гостями канитель разводить. Уложить, так уложить всех сразу под стол. Когда гости напивались до упаду, хвалили хозяев: умеют угощать! Утром голова трещит и раскалывается с похмелья. Во погуляли! Выпили мы сногшибательной марфиной браги и побрели в Балтаево, к мишкиной тётке Емельянихе. Там тоже следы гостей – спиртные трофеи. Наклюкались.

Под сараем у Емельянихи веники табака в углу кучей лежат. Сунулись носом в табачные веники, на табаке и уснули. Тем и Покров закончился. Кому мы нужны? В день Покрова-то?

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Творческие способности егорьевской молодёжи проявлялись по-разному. Шурка Растатурин, к примеру, как уже упоминалось, любил играть и талантливо играл на балалайке, Володька Муринов увлекался рисованием, Петька Чучканов, как егорьевский Страдивари, изготавливал своими руками новую балалайку, Генка Муринов дрессировал домашнего бычка и ездил на нём верхом по деревне, Ванька тётки Марей (Кузнецов) целыми днями молотком стучал. То кружки и черпаки из жести клепал, то велосипед – самокат изобретал и испытывал, собирая толпу зевак. Серёжка Верин морщил лоб над схемой и конструировал детекторный приёмник, Шурка Гудошников тренировался выливать себе в горло гранёный стакан воды враз без глотательных движений. Позже этот отработанный

приём он успешно демонстрировал при распитии водки, чем здорово удивлял собутыльников.

Многие девчата и ребята, молодые бабы и мужики охотно выступали на клубной сцене. Концерты художественной самодеятельности ставились не часто, но тем более заметным событием являлись в культурной жизни Егорьевки.

Несколько раз к нам в клуб приезжали шуганские самодеятельные артисты. Фельдшер Топоров пел шуточные частушки:

«Я по берегу иду,
Берег осыпается.
Я беззубую люблю,
Лучше – не кусается».

И припевал: «В лесу, говорят, в бору, говорят, росла, говорят, сосёнка...» Шуганский поэт Витька Поганкин по прозвищу Сапа пел: «... два сокола ясных вели разговоры. Первый сокол – Ленин, второй сокол – Сталин...» Кстати, это стихотворение Сулеймана Стальского входило в программу обучения. В школе нас заставляли учить его наизусть.

Народ на концерты ходил с удовольствием. Зрителей набивался полный зал. Ребятишкам скамеек не хватало. Стояли, сидели и полулежали прямо на полу перед сценой. На видном месте в клубе висел плакат-призыв, на котором крупными буквами была написана частица «НЕ», к ней приписаны слова: КУРИТЬ, СОРИТЬ, ПЛЕВАТЬ. Частицу эту никто не замечал. В клубе курили, сорили и плевали.

Клубная сцена была оборудована по всем правилам: декоративная кирпичная печь, кулисы, суфлёрская будка, авансцена, занавес. Не было только оркестровой ямы.

Сразу после войны, помню, ставили концерт егорьевские артисты двадцатых годов рождения и старше. Всем понравилась песня со словами: «Я уходил тогда в поход, в далёкие края. Рукой взмахнула у ворот любимая моя». Её спела тётя Катя Кошелева. Меня тогда поразило то, что она умеет так нежно, красиво и задушевно петь. До того она казалась суровой, замкнутой и старой. Только теперь, когда самому давно за пятьдесят, я начинаю понимать, как глубоко заблуждался. Ведь овдовевшей в войну тёте Кате было всего-то немножко больше тридцати.

Растатурин Иван Фёдорович на том концерте показывал фокусы. По столу, куда фокусник прикажет, катились два куриных яйца. Туда-

сюда. «Ко мне! От меня!» Ребятишки заворожено смотрели на волшебную палочку в руках Ивана Фёдоровича.

Но больше всех публике понравилось и запомнилось выступление Муринова Михаила. Покорил юморесками, остротами, раскованностью, с какой держался на сцене. «Ну, Мишка-немец, ну, артист! Со смеху уморил! Откуда что берёт?!» - обменивались впечатлениями егорьевцы, расходясь по домам.

Талант Михаила Муринова и после службы в армии, уже в пятидесятые годы продолжал блистать на егорьевской сцене. Хорошо он читал басни Сергея Михалкова: «Заяц в хмелю», «Арбуз» и другие.

Потом пришла наша смена. К художественной самодеятельности нас, десятилетних, приобщила Маня Староверова. Она у нас как вожатая была, стряхивала с нас, диких, налёт робости и оцепенения, в котором пребывали. Чуть не коленкой под зад на сцену выталкивала: пойдёшь, пляши, читай.

На первом нашем концерте мы с Серёжкой Вериним изображали сцену, где два мальчика, кто кого перевернёт, рассказывали друг другу небылицы. Забавно получилось. С ним же дуэтом пели: «Солнце скрылось за горою, затуманились речные перекаты...» Шурка Ухов пел звонко и разухабисто: «Живёт моя отрада в высоком терему...», наша Манька, лет семи ей от роду, без запинки пела: «Борода ль, моя бородушка, до чего ж ты отросла. Говорили раньше – щётка, говорят теперь – метла».

Шурка Луконина, Нинка Муринова, Нинка Крылова, Надька Кошелева, Маруська Кузнецова и другие в нарядных сарафанах, в платках, по старушечьи повязанных, исполняли русскую пляску. Некоторые из них рассказывали стихи и выступали с другими отдельными номерами. Для детей это был праздник. Праздник творчества.

Позднее, когда мы учились в старших классах, самодеятельностью в Егорьевке активно и умело занимался Николай Фёдорович, а в шуганской школе – молодые учительницы Валентина Сергеевна и Валентина Ивановна. Хором пели тогда «Москва – Пекин..., Сталин и Мао слушают нас...», «Перевоз Дуня держала, держала, держала...» Мы с Серёжкой плясали матросский танец, Нинка Муринова пела частушки и песни «Ягодка», «На закате путь далёк...», «Помню я ещё молодухой была». Валька Кузнецова своим звучным и красивым голосом исполняла популярные в то время песни: «Летят перелётные птицы...» и «Каким ты был, таким

ты и остался...» Все песни и частушки исполнялись под мою гармонию. На районном смотре художественной самодеятельности в Муслюмове, куда наш школьный коллектив путём отбора вышел в финал, концерт вела Кривошеева Валентина Сергеевна. Ведущая так часто объявляла мою фамилию, что фамилия эта завязла у неё в зубах. Через пять-шесть лет после того концерта, когда я третий год служил в армии, она снова была ведущей концерта на той же сцене. Представляя очередной номер, она, не задумываясь объявила: «Акомпанирует Пётр Долинин!» Артисты ахнули: «Господи! Откуда такого взяла?!» Смущённая Валентина Сергеевна вынуждена была вносить поправку. Рассказывали мне об этом и смеялись: «Вот как крепко засела твоя фамилия на муслюмовской сцене».

Опыт участия в самодеятельности с детских лет до зрелого возраста пригодился мне, когда после окончания школы заведовал клубом и должен был сам руководить художественной самодеятельностью. Мне удалось тогда собрать известных артистов сцены и поставить несколько концертов. Исполнителями ведущих ролей выступали Сидякин Александр, Растатурин Николай, Муринов Михаил, начали приобщаться к самодеятельности Петька Растатурин, Пашка Луконин и другие.

Репетировали и ставили интермедии, юморески, водевили Чехова. Зрительный зал встречал «артистов» теплом улыбок и восторженными аплодисментами. Неплохо получалось!



Деревенский клуб со стороны сада.

КОЛХОЗНЫЕ РАБОТЫ

Как остались женщины одни с первых дней войны, так и в послевоенные годы мало что изменилось в их одиночестве. Большинство мужиков и парней с войны не вернулось. Вся тяжесть

колхозной работы продолжала оставаться на женских плечах. Некоторые из парней, оставшихся в живых, проскочили мимо деревни в город. Те, что вернулись – для тяжёлой физической работы были непригодны: инвалиды, раненые, контуженные. Истинными помощниками колхозниц стали только те из них, кто пошёл в механизаторы. На эмтеэсовских тракторах они пахали, сеяли и убирали. Это, конечно, была помощь. Но не больше. Женщины и плугарили, хлебная пыль из-под колёс трактора и косили траву на сено и силос, конюшили, содержали колхозную скотину, работали лопатами, пудовками и совками на току, крутили ручку трееера, веялки... Что перечислять? Все работы, в основном, выполнялись женщинами, в том числе и на тракторах МТС, их работало много. Самую грязную и тяжёлую работу они и выполняли.

Я назову их так, как звали в деревне: Алексеева Маня, Кузнецова Маня, Кузнецова Марья, её дочь Настя, Кошелева Катя, Муринова Катя, Староверова Саня, Луконина Дуня, Четверякова Анна, Гудошникова Таня, Ухова Настя, Астафьева Нюра, Емельянова Анна, Леонова (Мухина) Маня, Лошкарёва Маша, Муринова (Антошкина) Маша, Муринова Александра.

Наряду с женщинами каторжным трудом занимались подростки и дети. После черытёх-пяти классов учёбы наравне со взрослыми включались в работу подростки, рождения конца двадцатых, начала тридцатых годов. На лошадях, на быках, грузчиками, обозниками работали Шурка Кузнецов, Мишка Муринов, Колька Муринов (Кукорь), Шурка Масянов, Серёжка Лошкарёв, Мишка Астафьев, Мишка Юмуков, Санька Долинин, Мишка Растатурин, Колька Растатурин, Митька Луконин, Пашка Фомичёв, Васька Растатурин.

Детям тех лет было не до учёбы. Главное дело – прокормить себя, семью, младших братьев и сестёр. Из всех егорьевцев рождения двадцатых и первой половины тридцатых школу окончили и получили среднее образование четверо: Гудошникова Нина, Владимир и Геннадий Муриновы, да Шурка Ухов. Остальные либо сразу в тринадцатилетнем возрасте впрягались в колхозную работу, либо через ФЗУ уходили на заводы и фабрики.

Убегали из деревни украдкой, тёмными ночами, как с каторжных работ. Документов, справок, удостоверяющих личность, паспортов тем более, беглецам выдавать строго запрещалось. Пользовались свидетельствами о рождении, справками об окончании такого количества классов. Школа такие справки, слава Богу, имела смелость выдавать. Девки постарше, чтобы убежать из деревни,

оформляли фиктивные браки со знакомыми горожанами и, таким образом, получали право на получение паспорта. Раскрепощались.

Группу ребят и девочек, рискнувших оставить деревню, ночью председатель колхоза Растатурин Иван догнал на жеребце около деревни Шуганки, отmaterил, настрашал, угрожая отдать под суд и плёткой, вернул беглецов в деревню. И таких эпизодов в жизни деревенских подростков было не мало.

ФЗУ привлекали приличным харчём и бесплатной форменной одеждой. Помню, как приезжали учащиеся ФЗУ в деревню на каникулы. Как быстро выросли и менялись вчерашние пятиклассники – не узнать было. Вчера ещё диковатые, впервые увидев на бугульминском вокзале «живой» паровоз, как от чёрта шарахались от паровозного гудка. Сегодня, через каких-нибудь полгода, в клубе появлялись совершенно цивилизные люди. Задирали нос, форсили в чёрных форменках с начищенными эмблемами на отворотах и пряжках на ремнях. И говор другой, и «краковяк у вас не тот», и «ваабче вы тут деревня». И Нюрка - не Нюрка, а Нюся. У Нюси губки накрашены, бровки подведены, на головке беретик, из-под беретика кудри, каких сроду не бывало, завитушки на лобик спадают. На танцах «городские» ножкой мерсикают, касаясь партнёра ручкой, мизинчик оттопыривают: «А что такое у вас – грабли?»

Идеология, весь уклад жизни в деревне сказывались и на бытовом уровне, искусственно возвышали рабочего над крестьянами. Будущие рабочие нутром чуяли своё превосходство, не сознавая того, быстро попадали под влияние такой идеологии, на оставшихся в деревне смотрели немного свысока. «Это тебе не колхоз!» «Ведёшь себя, как на колхозном собрании», - повторяли они чьи-то презрительные фразы в адрес «деревенщины». Помните «идиотизм деревенской жизни?» Молодёжь, вкусившая городской жизни, не оставляла никакой надежды на то, что когда-то вернётся работать на землю родную. Большинство порывало с деревней раз и навсегда. Шёл процесс раскрестьянивания.

Рыба ищет, где глубже...

И всё-таки не всех безоговорочно втянул в свою воронку городской водоворот. Кошелев Николай, Храмов Иван, Гудошникова Мария, пройдя школу училищ, поработать какое-то время в городе, вернулись в деревню.

Детей широко привлекали к колхозным работам. Не от хорошей жизни, конечно. Когда мне было, например, одиннадцать лет, я возил

солому на быке по кличке Демид. На лошадях работал, начиная с четвёртого класса, каждое лето. Конными граблями сгребал сено, волокушей оттаскивал солому от молотилки к омёту, управлял головной лошастью на сенокосилке, жаткой косил рожь с Колькой Вериним, работал на подвозе разнотравья на силос, возил зерно от комбайна на ток, с тока на элеватор и т.п. Позднее, когда учился в старших классах, приходилось и сено косой косить и на челнинский элеватор грузчиком на машинах ездить. То же самое делали все мои сверстники.

Ребятишек широко привлекали теребить лён, коноплю дергать, копать картошку, убирать морковь и свеклу. Работы выполнялись на голом пионерском и комсомольском энтузиазме, бесплатно, если не считать того, что съедали тут же в поле. Перекидывая с руки на руку горячую, только что выхваченную из золы картофелину, дули на неё, с кожурой отправляли в рот, облизывались и похваливали:

- Это не то, что своя. Рассыпчатая! Полевая!

Трудодень отоваривался трудно и то не всегда. Денежной оплаты не существовало и в помине.

За уборку конопли малолеток, помню, раза два поощряли ломтиком хлеба с мёдом. После работы шли за дядькой Иваном Уховым к колхозному амбару. Дядя Иван – завхоз. Сгорая от нетерпения и истекая слюной, стояли у амбара и ждали, когда же откроется дверь. Проходила вечность, пока дядя Иван достанет из кармана связку ключей, пока отопрёт, бряцая огромным замком, откинет накладку. Наконец, дверь отворялась, в нос ударял вкусный амбарный запах хлеба, мёда, муки, мышей. Дядя Иван брал огромный нож, мощной мозолистой ручищей упирал в грудь круглый каравай ржаного хлеба, нарезал толстые ломти. Конец того же ножа вонзал в загустевший мёд, накручивал его на широкое лезвие и размазывал по ломтям. Получив сей лакомый кусок, мы бежали домой, на ходу уплетая за обе щёки.

Дома во дворе Мишка с Манькой, увидев однажды меня с ломтём хлеба, тут же бросились ко мне с протянутыми руками:

- Петька, дай мне хлеба!

- И мне, Петька, дай!

- Фик вам! Вон у меня сколько! С мёдом! – дразнил я малышей и убегал от них через огород подальше.

Манька с Мишкой с воплями и причитаниями через прясло устремлялись за мной.

- Ну, Петька, ну да-а-ай! Ну, Петька!

- Ну, Петька, хлеба, дай хлеба!

Услышала мать, вышла на крыльцо и распорядилась:

- Что ты их дразнишь? Носишься, как угорелый, со своим ломтём? Съел бы уж где-нибудь за углом, чтобы не видели, а то... Отломи им по кусочку! Дай им попробовать!

Поддержанные матерью христарадники, замолкнув на минуту, пока она говорила, теперь завопили пуще прежнего и решительно пошли на меня с протянутыми руками. Помурывжив их ещё немного для порядка, поизмывавшись с высоты сытого над голодным, делю остатки ломтя между просителями. Растирая грязь и слёзы по щекам, Манька и Мишка жадно жуют и, давась, глотают необыкновенно вкусную пищу. Удовлетворённые, шмыгают носами. Много ли детям надо после картофельных лепёшек?

БИКТИМИР

У отца было полно друзей в окрестных сёлах, как среди русских, так и среди татар. Татары, которые знали отца в сороковых и пятидесятых годах и теперь вспоминают: «Эй, малай, твоя батька был бит абчественный человек. Эй, какой абчественный!» Многие заходили и заезжали к нам почаёвничать и покалякать. Самым большим кунаком в доме, однако, был «годок» отца – баланнинский Сайфутдин. К нему отец был проникнут особой симпатией и дружбой. Неподдельная радость их встреч была видна невооружённым детским взглядом.

- Эй, Кирилл, арумма, Кирилл! – радостно улыбаться и протягивал обе руки для приветствия, подходя при встрече к отцу Сайфутдин.

- Здравствуйте, Сайфутдин, исамма, годок! Давно не приходил, давно не встречались! Заходи в избу, Сайфутдин, чай-ка пить будем. Как живёшь, рассказывай. Как жена? Баранчук как?

На столе появлялась чекушка водки, яичница, самовар и начиналась неторопливая обстоятельная беседа о житие-бытие. Они в один год родились – два потомственных крестьянина, на одной и той же земле жили, в одной армии служили, оба имели детей одинакового возраста. Было что из прошлого вспомнить, и сегодняшние заботы были одинаковыми.

Неважно знали язык друг друга, но языкового, или какого-то другого барьера между ними не существовало. Понимали друг друга с полуслова, как истинные друзья всегда помогали друг другу.

Сайфутдин был искусный валенщик. Не одну пару валенок, сработанных его руками, я износил. Свои изделия он редко носил продавать на муслимовский базар. Немного сутуловатый, немногословный, с большими мозолистыми, узловатыми в суставах руками, на вид казался суровым. На самом же деле был просто умный и добрый человек.

Однажды друзья обсуждали проблему обучения детей. У Сайфутдина был сынишка моего возраста. Звали его Биктимир. Способный парнишка рос. С заботой о будущем отец с раннего возраста решил приобщить его к русской речи и культуре. Три класса Биктимир окончил в своей татарской баланнинской школе. В четвёртый атый направил его в нашу егорьевскую русскую школу.

Стали мы с Биктимиром сидеть за одной партой. Жил он у нас. Вместе мы и уроки учили, и на печке спали. Он у меня по-русски, я у него по-татарски разговаривать учились.

- Скажи, как будет по-татарски лук?
- Суган.
- А чеснок?
- Сарымсак.
- А лиса?
- Тельке.
- Волк?
- Буре.
- А Биктимир как-то можно перевести?
- Бик – очень, тимир – железный.
- Значит, ты очень железный?
- Канишна, - с гордостью отвечал Биктимир.

Крепко мы с ним подружились. Так подружились, что и во время каникул друг к другу бегали. Жил Биктимир в самом центре села. Домик у них, утопая в зелени сада, располагался в глубине двора. Перед окнами дома росли высокие и густые кусты акации. В саду зрели ягоды малины, клубники, вишни.

- Приходи, Петька, к нам в Баланны. Малина и вишня есть. Катык ашать будем.

До Баланнов полтора километра. По Баланнам до Биктимира с километр. Пока по баланнинской улице идёшь – страху натерпишься! Цепные псы, индюки, гусаки и драчливые ребятишки проходу не дают. Зато у Биктимира во дворе и в саду привольно. Отец с матерью у него молчаливые, добрые, никаких замечаний не делают. Хотя

гнездо вей внутри куста акации, хоть малину рви и ешь. Улыбаются только.

- Айда, катык принесём, - зовёт Биктимир.

- Айда.

Взяли медный, до блеска начищенный, тазик. Биктимир прихватил с собой две лучинки, пузырёк с солью и пошли мы через двор к погребу. Спустился Биктимир в погреб, налил там в тазик катыка и падал мне. Я принял и хотел было отнести его в избу. Биктимир остановил:

- Токталя! Поставь сюда, на траву...

Я поставил. Он взял лучинки и начал ими что-то в тазике выуживать. Наконец, подхватил нечто тёмное, а когда вытащил – по моему телу волной пробежала брезгливая дрожь. Между лучинками был зажат лягушонок! Лягушонок был зачоченевший и только медленными вялыми движениями лапок подавал признаки жизни. Биктимир положил его на траву, вынул из кармана пузырёк, взял щепоть соли и посыпал ею лягушонка. Тот конвульсивно дёрнулся раз-другой и замер.

- Улям, - засвидетельствовал смерть лягушонка Биктимир.

- Как он попал в катык? – удивляюсь я.

- Мин сам его в катык попала. Пусть катык холодным был.

Обедали в холодной избе на нарах, которые занимали чуть ли не половину избы. По стёклам окон шуршали листья малины, между неоштукатуренных брёвен во мху где-то жил-стрекотал сверчок. Шумел самовар на нарах. На огромной тарелке горой возвышалась отварная картошка. Апа разливала по кружкам катык.

За еду принялись с аппетитом. Отправляют картошку с хлебом в рот, катыком прихлёбывают. Я к катыку не притронулся, брезговал. Как вспомню про лягушонка, так ком к горлу.

- Син наrsa, Пита, катык не ашаешь? – замечает и спрашивает Сайфутдин. Что ответить? Признаться неловко. Молчу. Думаю: «Едят же люди катык и ничего с ними не происходит». После долгих колебаний взял кружку, да и отхлебнул немного. Попробовать. О-о-о! Во рту блаженная прохлада разливается, язык приятно так чуть-чуть пощипывает, аж слюнные железы от аппетита заломило. Вкус необыкновенный! Брезгливость, как рукой сняло! Про лягушонка и вспоминать неинтересно стало. Весь катык съел и кружку апа протянул. Ещё давай.

Такого вкусного катыка я никогда не едал!

После начальной егорьевской школы пошли мы с Биктимиром в шуганскую среднюю. В одном классе сидели. Дружба наша, может, продолжалась бы до сих пор, если бы... Из-за плохой одежки осенью Биктимир простыл. День его в школе нет, второй, а через некоторое время узнаём: умер Биктимир. От воспаления лёгких умер.

Долго и тяжело переживал я утрату верного друга. Всю жизнь жалею его. Хороший человек рос на земле.

Только не очень железный.

ТЁТЯ ШУРА

Первые два года учёбы в шуганской школе, с сорок девятого по пятьдесят первый год, квартировал я у тёти Шуры Горбуновой. Её муж пропал на войне. За стеной, в другой половине пятистенка жила семья старика-свёкра. Без отца у тёти Шуры росли два сына: Ванька – старше меня года на два-три и Шурка – на год моложе. Ваньку плохо помню. Он вскоре уехала из дома. То ли на учёбу в ФЗУ, то ли ещё куда. А с Шуркой мы быстро сблизились и жили дружно. Играли в маялку, рубили хворост на дрова, зимой «воевали», укрываясь в окопах и ходах сообщения, вырытых вдоль плетня в огородных сугробах.

Шурка учился так себе, но отличался удивительной любовью читать книжки. Жить не мог без чтения. Не разжевывая, как говорится, проглатывал одну книжку за другой. Сидит на кровати, ноги калачиком, корпусом, как маятником, взад-вперёд покачивает, обеими руками перед собой книжку держит, глазами по строчкам бегают, губами шевелит, шепчет что-то, шмыгает, причмокивает, посапывает – чтением упивается. Часами может так сидеть.

- Интересная книжка? – спрашиваю.

- Интересная.

- Про что?

- Да так.

- И всё же?

- Да про индейцев! Ну их!

Уникальный был Шурка читатель! Сколько ни пытал я его о прочитанном рассказать – ни разу ничего не добился. Ничего он не помнил и не знал о прочитанном. Просто любил находиться в образе грамотного человека. Многие читали, но он больше и быстрее всех. В своём неумеренном увлечении Шурка был чем-то похож на мать. Только у тёти Шуры было иное хобби – чай пить.

Среди окрестных сёл и деревень Шуган в то время славился жадным чаепитием. Одной из ярких представительниц села, на ком держалась такая слава, являлась тётя Шура. Была она средних лет и роста, а, может, даже моложе и ниже. Не полная. Полных в те годы колхозниц не было и быть не могло. И рацион не тот и нагрузка, как у белки в колесе. И в колхозе, и дома.

- Чай не пьёшь, откуда силы берёшь? – шутила она.

Чаепитие начиналось в сумерки, когда запускали колхозную электростанцию и под потолком, то вспыхивала, то лишь красными потухшими волосками подавала признаки жизни лампочка Ильича. Приходила соседка – такая же незамужняя горемыка-колхозница. Приносила с собой самовар. Свой. Медный. С медалями. Ведёрный.

- Разболокайся, - приглашала тётя Шура соседку, - проходи.

Из кармана плюшевой жакетки соседка доставала драгоценный узелок. В тряпочку были завёрнуты две-три конфетки, пара жомулук и кусочек дощаного чая.

Начиналось нехитрое действо с самоварами. Вскипевший хозяйка ставила на стол. Он продолжал шипеть тихонько, из дырочек – отдушин на крышке пузатого – парок струится. На самоварной трубе кособочился с отломленным наполовину рыльцем фарфоровый чайник с заваркой. Соседкин самовар, в свою очередь, подружки старым сапогом раздували в чулане. Ставили его с тем расчётом, чтобы он успел вскипеть на смену выпитому первому.

Пьют бабы чай, самовары на столе, как часовых на посту, меняют, судачат о том, о сём. Всем вредным шуганцам, не торопясь, косточки перебирают, над своими горестями вздыхают, на ухо друг дружке, чтобы мы не слышали, секретами свежими делятся. Щёки, как свёклы, красные, лбы и губы бисером пота, как августовской росой, покроются, а они всё пьют и пьют одну чашку за другой, блюдец за блюдцем, шумно отхлёбывают, конфеткой прикусывают. Чем больше пьют, тем разговорчивей становятся.

На первых порах невероятное количество выпитого бабами кипятка, который и чаем-то можно было назвать с большой натяжкой, меня поражало. Я не верил своим глазам! Это сколько же можно пить? Рассказывали, что наш егорьевский мужик дядя Сергей Юмуков однажды, когда шоферил, в муслимовской столовой, попросил официантку подать ему сразу десять стаканов чая, а потом ещё пять и на глазах у изумлённых клиентов выпил все до единого, пока из носа не потекло. Так это случай. Экстремальная ситуация!

Крайне уставший, изнурённый жаждой в трудном рейсе человек. Бывает такое. Случается. Но не система же! Не самоварами!

Подмываемый любопытством, я иной раз, свесившись с полатей, спрашивал:

- Тётя Шура, а какую чашку пьёшь?

- Двадцать восьмую, будто. Считала, да со счёту сбилась, - отвечает.

Она побила бы, кажется, все рекорды чаепития в индивидуальных зачётах, если бы объявили такое соревнование и зарегистрировали её показатели. Быть бы ей в книге рекордов Гиннеса. Но тогда о такой книге не было слышно и неумеренное употребление чая тётей Шурой осталось в области устных преданий.

СОЛЁНА ГОЛОВА

В 1951 году, когда я пошёл в седьмой класс, а племянница Маня – в пятый, подобрали нам новую квартиру. Стали жить у Александра Ивановича Новикова, по прозвищу Солёна Голова и жены его – Матрёны, в небольшой, но тёплой и чистой избушке. Какая-то из моих сестёр квартировала у них раньше, потому в нашей семье необыкновенную чету знали давно и много рассказывали о её причудах.

Прозвище своё Солёна Голова носил с детства, с тех пор, как его суеверная матушка при свидетелях посыпала темечко своего дитя солью, дабы не сглазили на улице. Носил его до старости, до конца своей земной крестьянской карьеры. В Шугане редко кто знал его настоящее имя. Солёна Голова, да Солёна Голова. С этим прозвищем и в памяти остался. Грубо сколоченный, угловатый мужик с басовитым голосом, вечной седой щетиной на подбородке, с неряшливой, стекающей по глубоким складкам у уголков рта вниз слюной, он запомнился мне с козьей ножкой в мокрых губах. Частенько смолил он газетную соску, набитую крепчайшим зелёным самосадам. Рядом с ним в это время находиться было невозможно. Злой дух табака напрочь перехватывал дыхание. Солёной Голове хоть бы что. Сидит, попыхивает себе из ноздрей ядовитыми струями, изо рта сизые упругие кольца пускает, на которые обычно топор вешают и шкатулку с замком мастерит, в которой, он не скрывает этого, намерен от меня табак прятать. Мастерит и рассказывает про город Киев, в котором давным-давно когда-то ещё солдатом побывал...

- Да-а-а, девки!- басит Александр Иванович, вкладывая в это «да» всю силу хранимого им чувства удивления. – В Кееве в театрере сидели. Потолок там больно высоко, намного выше нашего. Голову надо эта... задирать... когда в потолок. Вот показывали. Куклы под потолком летают. Да-а-а! Вот от пола и вверх над головой летит и летит, летит и летит. И не падает! Да-а-а! В Кееве вот летали куклы-ти, в Кееве. А потолок там какой высокий! Кругами куклы-ти летают, кругами эдак под потолком летают. Больше нигде не летали. В Кееве только летали. Как это они? И не падали! Ну высоко!

Рассказывает Солёная Голова про «Кеев», а сам диву надивиться не может, не даёт его большой голове покоя вопрос: как это куклы летали и не падали?

Рассказом своим он и нас на всю жизнь озадачил. До сих пор гадаю: каких это он там летающих кукол видел? То ли трюки в цирке, то ли лепные украшения на потолке?

Матрёна из магазина пришла, покупку – ватное одеяло принесла. На красном атласе белыми нитками стежки-узоры разбегаются. Развернула маленькая Матрёна одеяло на кровати и писклявым голосом зовёт мужика посмотреть и оценить покупку.

- Гла-ка, Ляксандра, каку я удеялку купила...

Посмотрел тот на «удиялку», пощупал шёлковистую материю корявыми руками и пробасил:

- Басенька, Матрёна, басенька удеялка. – Погладил «удеялку» ещё раз и окончательно утвердил:

- Басенька, Матрёна, басенька!

Рада Матрёна, что Ляксандре угодила и весело защebetала что-то своим комариным голоском. Необыкновенное было звуко сочетание. Матрёна пищит, Александр Иванович басом вторит. Когда в унисон – в избе лад и праздник. Были и разногласия, но редко.

Александр Иванович очень любил, когда с ним совет держат. Матрёна давно это знала и часто злоупотребляла слабостью мужика, без совета с ним и шагу не ступала.

Лежат они на печке ночью. Матрёну приспичило по нужде на двор сбегать. Ну и сходила бы молча, как это люди делают. Но тогда она не Матрёна, а он не Солёна Голова были бы. У них всё по-своему.

- Саня, я схожу посикаю? – спрашивает Матрёна, не обращая на нас с Маней никакого внимания, хотя мы ещё сидим за столом, готовим уроки.

- Сходи, Матрёна, - великодушно разрешает бас.

Получив добро, Матрёна долго возится, спускаясь с печки, а когда возвращается со двора, сообщает о погоде, подробности своего похода, где запнулась, где поскользнулась и главное:

- Посикала.

Мы с Маней вот-вот лопнем со смеху, зажимаем рты ладонями, падаем на пол и, валяясь, беззвучно хохочем. До икоты. Уловив наше весёлое присутствие, Солёна Голова командует:

- Девки! Спать пора. Выключайте свет-то! Спите!

Мы продолжаем смеяться пуще прежнего. Теперь над «девками». Я, Маня, а на другой год и Миша с нами – все мы у него в «девках» ходили. «Девки, дров принесите». «Девки, обедать садитесь». «Девки, валенки на печку поставьте».

Солёна Голова многое умел делать своими руками. Хорошо получались у него печки разные. Хочешь – русскую сложит, хочешь – голландку, хочешь ещё какую. Любая получается. Заказами его на селе, как печника, не загружали. Водились, видать, печники и получше, да и не каждый год печки перекладывались. Хорошо сложенная да из доброго кирпича, печь всю жизнь простоит. Так он практиковал на своей.

- Матрёна, я баю, печку-ти подальше в угол подвинуть бы.

- Подвинь, - легко соглашается Матрёна. Как будто речь идёт о табуретке. Матрёна точно знает, что и не согласилась она, так всё равно Ляксандра печку передвинет, раз уж его такая блажь посетила. И всё Матрёна считает нужным подкрепить своё одобрение только что пришедшими на ум лукавыми соображениями:

- Подвинь, а то больно близко к окошку она. Ухватом-то, гляди, стекло кокнешь.

Засучивает Александр Иванович рукава, а к вечеру, смотришь – новая печка на новом месте стоит. За два года, пока мы у них жили, печка кочевала по избёнке три раза. Всякий раз ломка и кладка занимала не больше одного дня. Так они и жили.

Рядом с избой Солёной Головы стоял дом тётки Дуни Кривошеевой – второй жены Ивана Сергеевича Растатурина. Летом дом пустовал, на зиму в нём поселялись Шурка с Петькой – сыновья председателя, тоже ученики шуганской школы. Для присмотра за ними Иван Сергеевич приставлял какую-то бездомную, похоже, тётку. Она им еду готовила, печку топила, уборкой в избе занималась. Возле опекаемых и сама кормилась, зиму зимовала и на печке спала. К ребятишкам тётка никакой строгости не проявляла. Лишь бы

сытые, да умытые ходили. Остальное её не касается. Что хотят, то и делают. Как-никак они хозяйева. Она кто? Квартирантка. Приживалка.

Вечерами в этот дом беспризорных собиралась егорьевская ребятня. В карты поиграть, покурить вволю, свободой насытить, подурачиться. Приходили Мишка Фомичёв, Серёжка Верин, Ванька Староверов, Шурка Ухов и другие. На правах соседа, часто приходил туда и я. Бывало, до полуночи засиживались. Играли в подкидного дурачка, в «веришь-не-веришь», В очко. Курили самокрутки, начинённые домашним самосадом. Дым коромыслом стоял в избе. Галдели, орали, стучали по столу. Резались, что называется. Азартно бросали на стол очередную карту, звучно прихлопывали ладонями, топали под столом валенками, выкрикивали: «Ишо одну давай! Давай! Ишо!»

Проигравший, через стол, покорно наклонял голову. Победитель, напружинивая ударный палец особым приёмом, изо всей силы, как Балда попу, наносил по лбу несколько тупозвучных щелчков. Несчастный терпеливо морщился, потирал ушибленное место, срывая зло на бабке:

- Карга старая. Нашла время песни распевать.

В это время на печи, та жалобно и протяжно пела свою любимую:

«Паперосочка, моя гумажачка,
Как мне тебя не курить?
Ты, девчущечка, моя черноглазая,
Как мне тебя не любить?»

- Чё ей не петь? – говорит Петька. – Как личинка завернулась в шубу и лежит себе на горячих кирпичках. На улице вон под тридцать. Там, чай, лазаря запоёшь. Шурка решительно возражает:

- Напугал бабку... Никакого морозу не боюсь.

- Таракан запечный. На таком морозе сразки окочуриssi, - подзуживает обиженная бабка.

- Я? Окочурюсь? – хорохорится Шурка. – Да я босиком в сугробах по пузо до конного двора за коровой бегал. И то ничё! Окочу-ришь-ся! Скажет тоже!

И тут начинается! В спор вступает Шурка Ухов:

- А чё? Выйдешь босиком на мороз? Сейчас? Слабо?

- Спорим! А ты выйдешь?

- Спрашивает. До магазина добегу!

- А что? Давайте, кто вперёд до магазина и обратно, - распаляется Шурка Растатурин.

- Сейчас? В полночь?
- Сейчас конечно.
- Бежим?
- Бежим.

Шурка, Петька, Мишка Ухов – штаны и носки с себя долой. Остались в одних подштанниках. Белые неразличимые на снегу привидения, приплясывая босыми ногами, выстроились у ворот на старте. Полная и яркая луна украшена морозным столбом, на деревьях и проводах острыми алмазными кристалликами сверкает иней, изо рта пар клубом. «Раз, два, три!» - командует Шурка Ухов. По санной дороге отворот до магазина метров триста. Под счёт «три» сорвались пацаны и тут же растворились в серой морозной ночи. Только хруст раздаётся под пятками. До магазинного крыльца и назад, как настёганные.

Родители в Егорьевке беспокоятся: «Как там наши ребятишки? Не простудились бы где. Больно шибко мороз ударил». А ребятишки эти вон чего тут вытворяют. Бабка язык за зубами крепко держит. Свой человек. Небось не проболтается.

Когда морозы стояли ниже двадцати пяти, занятия в школе отменялись, а мы радовались. Не надо в школу идти.

- Домой пойдём? – спрашивает Серёжка.

- Пойдём. Что тут у Матрёны в избушке сидеть, раз в школу не ходить?

Серёжка на лыжах вперёд бежит, я сзади пешком топаю. Матрёна мне лицо поверх шапки своей шалью укутала. Ноги леденеть начинают. Шубейка короткая. Пройду немного - присяду, прикрою колени полами, отойдут - дальше пошёл. Так всю дорогу вприсядку и двигался. Шаль и воротник куржаком покрылись, щёки сначала пощипывало, потом они перестали холод ощущать. Наконец, полузакоченевший вваливаюсь в избу родную. Мать ахать и охать:

- Батюшки! В такой-то мороз! Выгонка что ли? Сидел бы там в тепле. – Помогает пуговицы расстегнуть и шаль развязать. И вдруг с тревогой сообщает:

- Ба! Да ты обморозился! Шаль-то к щекам примёрзла! Не трогай её, не отрывай. Пусть сама отходит! Счас гусяного сала принесу.

- Подумаешь, обморозился! «Хватит! Стоп! Перебор! Очко! А-а-а! Лоб подставляй!» – вот это похуже...

ДЕД И БАБА КОТКОВЫ

Два последних года зимовал я у одноклассника Генки Коткова. Жил он и воспитывался у деда с бабкой, которые согласились пустить меня на квартиру, как генкиного сообщника, полагая, что со мной ему будет веселее и легче. С Генкой нас сближало стремление к физическому совершенству и закаливанию организма. Из бревна берёзового мы с ним топором вытесали что-то похожее на штангу или гантель. Этот гибрид валялся за сараем, куда мы бегали по утрам и упражнялись, поднимая его одной рукой. Кто больше! А для закалики спали на свежем воздухе в чулане. Бабка стелила нам там постель до наступления крепких заморозков. Просыпались утром, а одеяло инеем покрыто.

Красивый, привлекательный и степенный был у Генки дед. Седая окладистая борода, светлые чистые глаза, придавали ему благообразный вид. Ровно с иконы святого Павла сошёл. Без лишних движений, не спеша, управлялся он с домашним хозяйством. Не шумел, разговаривал мало. Было что-то в нём очень основательное, взвешенное, крепкое. Страшно нравился мне этот дед.

Бабка ему под стать была. Как из доброй детской сказки. Кругленькая, в юбке со сборушками, приветливая, улыбчивая, аккуратная и чистоплотная. Всё в избе, всё у печки. Я не переставал удивляться бабкиному искусству варить простую еду: суп, щи, картошку, кашу. Всё было, как обычно, необыкновенным был только вкус. Как она это делала? Для меня это осталось секретом. Давно уж у Генки ни бабки, ни деда нет. Одна добрая память осталась. А ведь это, пожалуй, и есть то самое ценное, что может оставить живущим Человек с большой буквы.

Не забывается, как с Генкой мы на охоту ходили. Брали дедово ружьё. Переломку. Однажды целый день по егорьевским зеленым бегали за большой журавлиной стаей. Брат Мишка с нами был. Попытки подползти к пасущейся стае по-пластунски на расстояние ружейного выстрела в открытом поле оказались безуспешными. Решили потом замаскироваться около стога гороховой соломы, который стоял недалеко от озёр у чекмакской межи. Этот метод оказался более надежным. Журавли не сумели заметить нас в зарослях полыни, растущей здесь отдельной кулижкой. Прямо перед нами опускались на поле журавли, расправив крылья и вытянув вперёд длинные тонкие ноги. Опустившись на зелёные всходы гороха, густо рассыпанного во время уборки, журавли лакомились

нежными и сочными растениями в 15-20 метрах от нашей засады. Боясь спугнуть стаю, мы не торопились стрелять и ружьё лежало неподвижно и сами мы, не шевелясь, наблюдали за птицами, как зачарованные. Журавли оставались предельно осторожными. Один из них, судя по всему, вожак, стоял, не наклоняясь к еде, зорко наблюдал за порядком, был на страже. Стоило нам шелохнуть кусты полыни одним неосторожным движением, журавли дружно взяли разбег по стерне и поднялись, курлыча, на крыло.

Мы слышали, но не предполагали, что настолько журавль чуткая и осторожная птица. Мы не убили ни одного журавля. Патроны расстреляли потом, тут же, у горохового омета, в какую-то самодельную мишень. Но не зря ломали ноги. Мы видели журавлиные повадки и движения стаи в натуре, в естественных условиях журавлиной жизни. На земле и в полёте. Где бы могли увидеть такое?

ГРОЗА

С утра было прохладно, но потом день 25 августа 1952 года разыгрался солнечный и по-летнему тёплый. Дожди давно не навещали Егорьевку, стояла благоприятная сухая погода. Завершалась уборка зерновых. Мы с Ванькой Староверовым на лошадях возили зерно от комбайнов на ток.

После обеда на горизонте появилась маленькая краюшка тёмной тучи. Она поднималась из-за баланнинского леса и вскоре плотным непроницаемым занавесом закрыла юго-западную часть чистой небесной лазури. Когда туча верхним краем сравнялась с лошадиной головой, стало видно, как её вдоль и поперёк то и дело рассекают острые угловато-кинжальные стрелы беззвучных молний, а по мере приближения её стали слышны далёкие ворчливые погромыхивания. Сварливая туча приближалась неожиданно быстро.

- Успеем до дождя разок? – кричу Ваньке, отъезжая от тока.

- Успеем.

Стоя на бестарке во весь рост, накручивая над головой концами вожжей, галопом погнали в поле. Только успели мы доехать до амбаров у элеватора, тучка нависла уже над Баланнами, а седые ключья её авангарда бесновались над нашими головами. Ливневая туча ураганным ветром катила впереди себя грозный вал пыли и мусора. Она двигалась, как огромная метла, готовая смести с лица земли всю деревушку с её соломенными избышками и хлевушками.

- Гони к амбарам!

- Давай под навес!

Не успели мы привязать лошадей под навесом между амбарами, как холодная волна упругого воздуха рванула с земли пыль, клочья соломы, листья, взлохматила соломенные шапки избушек, начала ломать ветки тополей. Всё закружилось-завертелось в бешеном вихре. Ветер, как удалой разбойник, засвистал под застрехой амбара. Где-то рядом звякнула и покатила пустая жестяная бочка, по бортам брички захлопали края полога. Солнце враз заслонило тучей. Всё погрузилось во мрак. Хрястнул разряд молнии над левашовским выгоном. Рассыпались и пыльными шариками покатались по земле брызги первых крупных капель дождя. Пахнуло мокрой пылью, озоном и... пошёл плясать ливень водяными пузырями по пыльной дороге.

Мы промокли до нитки и не раз съёживались под грозовыми ударами, прежде чем успели босиком по лужам добежать до сельсовета. На фоне враз почерневшего неба, под звуки бушующего водопада и громовых раскатов, природа исполняла бешеный танец с саблями. Прозвучал очередной сухой оглушительный треск. Сверху вниз над Левашовкой стрела расколола небо пополам. Один из домов на конце улицы вспыхнул, как факел.

В сельсовете дежурил дед Филимон. Удар молнии вывел из строя сельсоветский единственный в деревне телефон. Внутри аппарата что-то загорелось, из щелей его повалил дым. Филимон испугался и вышел на крыльцо. Мы с Ванькой как раз в это время подбежали к крыльцу.

- Как шарахнула, ребятки! Телефонка сгорела! – успел пожаловаться нам Филимон. Затем взгляд его метнулся в сторону Левашовки, он побледнел, как бумага, ахнул, пробормотал, - «Мать часна! Моя изба горить!» - и затрусил к своему горящему дому.

Кто-то бил в пожарный колокол. Народ бежал на пожар. Мы с Ванькой стреканули по домам. Растекаясь по небу мгновенными корявыми разводами, ярко освещая окрестности, блистали молнии. Гром грохотал без умолку. Туча остановилась над деревней, чтобы сотворить здесь ад крошечный. Только я добежал до телефонной линии, как очередная стрела молнии запуталась в проводах. Мощные разряды играли между проводами, фейерверком рассыпая искры прямо над моей головой. Я остановился, присел с перепугу и невольно вспомнил Бога, к которому до того никогда не обращался. Бог, наверное, мимоходом взглянул на меня, подумал: «Бестолковый

пацанишка и безгрешный ещё. Пусть поживёт». И приказал громовержцу не убивать.

Дома кипела муравьиная спасательная работа. Мать, отец, Шура, Манька с Мишкой торопливо выносили из избы всё, что можно и складывали в кучу у колодца за избой: сундук, перину, подушки, тулуп, гитару и прочее. Зеркало в избе было завешено полотном, как положено в грозу, занавески на окнах задёрнуты, с потолка во многих местах струилась-капала вода, звонко ударяясь в подставленные вёдра и тазики. Крышу пролило.

Вскоре к нам прибежал взъерошенный, мокрый и от перепугу дрожащий Петька Растатурин. Уж и ночь наступила, а разбушевавшаяся стихия не унималась. Дождь продолжал лить, как из ведра, но, несмотря на это, Филимонова изба продолжала гореть. Набравшись храбрости и немного привыкнув к раскатам грома, мы с Петькой под ослепительные перехлёсты молний побежали на пожар, в центр исторического события. Но там мы ничего героического и выдающегося уже не увидели. Десятка полтора мокрых и измученных мужиков и ребят сутились вокруг догорающей избы. Бегали взад-вперёд с баграми, с вёдрами, качали насос ручной пожарной помпы. Остальная публика, бабы и ребятишки, стояли полукругом на заднем плане пожарища, наслаждаясь бесплатно острым зрелищем большого огня. Продолжая, как и приличествует случаю, охать и ахать в знак сочувствия погорельцам, переговаривались:

- Ничегошеньки вынести не успели. Всё дотла сгорело!

- Ну-ко ты, какая сушь стояла! Солома, как порох! И дождик нипочём!

- Я баю и что здря водой плясать? Пожар от молоньи ничем, окромя как молоком из чёрной коровы, не потушишь!

Рядом с горящей, стояла изба тётки Марфы Фомичёвой, Мишка на всякий случай с ведром воды стоял на крыше своей избы. Весь багрово-красный от всполохов пожарища, в прилипшей к тощему телу рубахе, он, пытаясь взять на себя руководство пожаротушения, выкрикивал сверху вниз какие-то команды, которые никто не слушал и не выполнял.

Дождь и гроза уgomонились под утро. На следующий сухой и солнечный день деревня сушила постель и утварь, вынесенные накануне под дождь для спасения от огня.

Гитара наша под дождём так разбухла, что разошлась по швам.

Пропала гитара.

ГАРМОНЬ

В детстве я переболел всеми мыслимыми и немыслимыми болезнями. Однажды захворал корью и с высокой температурой валялся в постели. Сознание моё, то прояснялось, и я видел вокруг всё, как есть на самом деле, то вдруг стены, печка, полаты, зеркало, фикус куда-то уплывали, застилались пеленой. На смену им приходили неземные образы, яркие куски радужных полотен сменялись жуткими провалами мрачной бездны. Плотной стеной подступал и охватывал страх оторваться от матери и потерять её в вечном и бесконечном хаосе. Появлялся вдруг чёрный волк и так грозно приближался с готовностью разорвать меня страшными клыками, что я в беспамятстве начинал кричать и звать на помощь мать. Она приходила, а может и не отходила, и, приобретая сознание, я сразу слышал её голос и видел родное лицо. Этот образ и голос были для меня целебнее всяких лекарств. Страшные видения исчезали. Мать говорила:

- Спи, сынок. Закрой глазки и спи. Завтра, как проснёшься, принесу тебе гармонь. Хочешь на гармонии поиграть?

- Ага, хочу.

- Спи. Схожу завтра к Храмовым, попрошу мишину гармонь и принесу тебе.

Чтобы поддержать интерес к жизни, потешить меня, мать не нашла в убогой и серой егорьевской жизни ничего интереснее и ярче мишиной гармонии. Не просил и в руках никогда не держал я гармони, но обещание матери вызвало во мне огромный прилив радости. Тогда я наверняка и жить-то на земле остался ради обещанной гармонии. Но получилось так, что в тот раз подержать в руках гармонь не удалось. Мать, как я понял позднее, постеснялась попросить её у сестры Дуни. Уж больно берегли Храмовы эту единственную в деревне с яркими цветными мехами гармонь. В руки брать никому не позволяли, дышать на неё боялись. А как же? Мишина! А Миша на войне. Не желая ставить себя в неловкое положение отказом, мать наутро гармонь спрашивать не стала. Обещанного три года ждётся. Скорбя и выздоравливая без музыки, я не напоминал матери об этом обещании, хотя оно почему-то запало в детскую душу.

И всё-таки, хоть и через десять лет после того, но мать слово своё сдержала. Я учился в восьмом, когда во время зимних каникул она неожиданно засобиралась к сестре Даше в Михайловку. Вернулась из гостей на другой день с сюрпризом. Из её рук я принял

узлом завязанную шаль, в которой от неловкого движения, к великому моему изумлению и радости, как живая, пискнула гармонь.

- У Бычковых выпросила. За триста рублей отдали, - рассказывает, не менее счастливая, чем я, мать. – Сашка говорит, больно уж хорошая гармонь-то. Мол, планки медные. Из старинного полубаяна сам петровский мастер эту гармонь сделал. Знаменитый мастер-то. Пуговицы на ней в три ряда.

Нетрудно было понять, что первый и второй ряды настроены под хромку, а третий ряд оставался от полубаяна и служил теперь декорацией. Во время каникул я начал «пилить» на гармонии. Меха у неё оказались настолько старые и слабые, что легко растягивались почти на метр и сипели при этом словно лошадь в гору возом. Но главная трудность учёбы игры на гармонии была в том, что в деревне, ни гармонистов, ни гармоней не осталось. Не у кого учиться-то. Совершенно неожиданно для меня на помощь пришёл отец. Лежит как-то на печке, слушает, как я вымучиваю самодельные коленца и говорит:

- А ты знаешь? Я ведь в молодости тоже на гармонии играл. Не на такой, правда, на тальянке. Умею играть «На реченьку», «Барыню», «Во саду ли в огороде», «Камаринскую». Вот слушай. Я тебе буду напевать, а ты подбирай.

И начал негромко наигрывать губами.

Так я учился. Отец напевал, я перекладывал мотив на пуговицы, нащупывая из одну за другой и запоминая последовательность. Когда вырисовывался контур мелодии, отец подбадривал:

- Во-во-во! Эть-эть-эть! Так-так-так! Получается! Получается! Выйдет!

Он научил сидеть меня прямо во время игры, так сказать, блюсти позу. Сознательно или невольно он использовал для этого сильный педагогический приём. Мне он не сделал ни одного замечания, не говорил и не показывал, как надо сидеть. Просто, однажды, так изобразил позы известных ему гармонистов, что рассмешил меня до слёз. Изображая, приговаривал: «Или вон Колька играет! То левым, то правым ухом лежит на этой бедной гармошке-то. Меха до полу, губы скривит, язык высунет, глаза зажмурит! Ах ты, батюшки! Смотреть тошно! Тьфу! Не-е-е, вон на Ивана, бывало, как заиграет, любо-дорого смотреть. Сам сидит прямо, голову не крутит зря. Руками играет и всё. Да-а, любо-дорого!»

После такого инсценированного рассказа я сообразил, в чей огород камни, стал за собой следить. Как бы ни увлекался игрой – об осанке не забывал.

К весенним каникулам я уже довольно сносно изображал краковяк, подгорную, барыню. Когда в Миловке весной девки высыпали на проталинки поиграть и порезвиться, новоявленному гармонисту под припевку «А я тебе стулицу вынесу на улицу», притащили табуретку. Я не ломался, играл безотказно всё и столько, что и сколько просили. Назвался груздем – полезай в кузов. С тех пор без гармонии и на улицу не приходил. Хочешь – не хочешь, играй! Ежедневно вынужденные упражнения на лужайке, у избы-читальни, в клубе стали своего рода интенсивной тренировкой. К концу лета я играл с такими переборами и так виртуозно, что даже самый авторитетный балалаечник Шурка Растатурин искренне восхищался и, не скрывая зависти, просил ещё раз сыграть ему то подгорную, то вальс «Дунайские волны».

Это было в 1953 году. Балалайка, славно послужившая деревне в годы войны и в послевоенное время, постепенно вытеснялась и вскоре совсем исчезла с егорьевской улицы.

Очень весело жили в деревне,
В подворотне лаял Волчок,
А под кроной высоких деревьев
Гармонист собирал пятачок.

ОТЕЦ

Мы с Серёжкой основательно разбирались в людях. По нашей мерке они распределялись на две части: на добрых и на злых. Дряхлый морщинистый татарин-старьёвщик, например, определённо относился к добрым. Когда Аслах, так его звали, со своей повозкой появлялся на улице, ребяташки обступали его, разглядывали то, что он привёз взамен тряпья, костей и прочего утиля. Аслах не гнал от себя, не ругался, вступал в разговор, улыбаясь, расспрашивал, кто что может принести ему из дома, готов был приласкать даже.

- Аслах добрый, - говорил Серёжка. И этим было сказано всё. А вот другой приезжал из Баланнов к магазину на инвалидной коляске. Тот много пил водки, говорил нехорошие слова, ругал и гнал от себя детей.

- Он злой, - говорил Серёжка и тем самым безоговорочно отбрасывал его к другой половине человечества. Такая раскладка

вполне устраивала нас, она казалась нам исчерпывающей и помогла строить свои отношения с окружающим миром. Но только в отношении к чужим.

О своих близких мы судили несколько шире. Однозначность тут уступала место более развёрнутым характеристикам.

- Кто это у вас новые косяки-то сделал? – спрашиваю Серёжку.

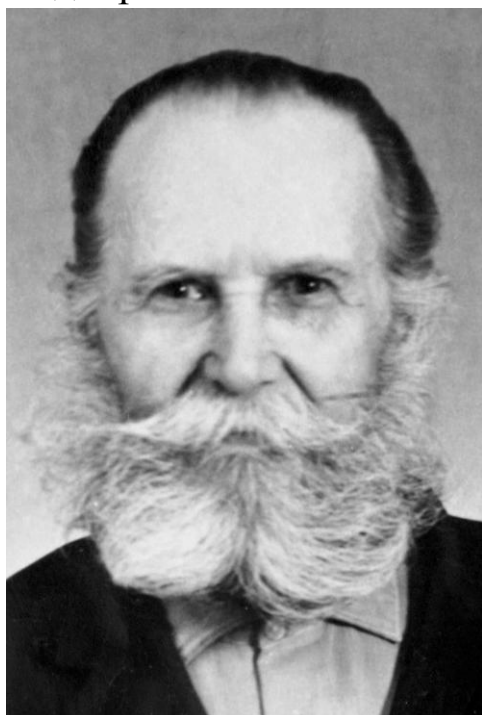
- Отец. Сам.

- Разве? А я и не знал, что он умеет плотничать.

- Э-э! Он у нас всё умеет. Только ленивый больно.

Чуете? Это не то, что добрый или злой.

Вот и я о своём отце хочу сказать несколько больше, чем просто о добром человеке.



Долинин
Кирилл Игнатьевич

Родился он, как уже упоминалось, 11 мая 1888 года в деревне Шерламе Альметьевского уезда Казанской губернии. Подростком несколько лет уходил из деревни на заработки в город Кунгур. Там он работал по найму у Сартакова – владельца кожевенного производства. В 1906 году призвали его в царскую армию. Служил под Москвой, в Орле, в Перловке. В армии на себе испытал рукоприкладство. Несмотря ни на что, солдатом он был бравым и службу, судя по его рассказам, любил. Вернулся домой с действительной в звании унтер-офицера. В 1911 году женился. Детей у них с матерью не было в течение десяти лет. Все эти годы, за исключением пяти военных лет, они

переживали свою бездетность, обращались к знахарям, пытались найти и устранить причину бесплодия.

В самом начале войны с Германией отец снова был мобилизован в армии и с 1914 по 1917 год в составе финляндского полка находился на передовой, в окопах. Там он лично познакомился с революционно настроенным прапорщиком Николаем Крыленко. Отец не был большевиком, ни в какой партии никогда не состоял, но однажды был избран в состав делегации от своего полка и вместе с Крыленко принял участие в армейском собрании. Всю жизнь вспоминал потом Крыленко, как сильного оратора и организатора.

Отец был очень справедливым человеком. Умел на своём крестьянском и солдатском уровне логически мыслить, здраво рассуждать, анализировать, делать выводы и принимать взвешенные решения по самым сложным житейским вопросам. Эти качества, да плюс общительный нрав и чувство юмора, очевидно, и определили его дальнейшую судьбу. По возвращении домой с войны он в 1918 году был избран первым председателем сельского Совета в Егорьевке. По тем временам главная должность в деревне. Власть делить тогда ещё было не с кем. Председатели колхозов и парторги появились много позже.

Обязанности председателя отец исполнял на общественных началах, оставаясь крестьянином-единоличником. Чтобы содержать себя и семью, выращивал хлеб, держал скотину, имел пасеку около десятка колод, которая находилась на поляне в баланнинском лесу.

Особую любовь, повторяю, он питал к армии, считал её нужной и полезной школой для мужчины. Приёмы строевой армейской подготовки помнил до старости. Бывало, возьмёт деревянную лопату, которой мать хлеб в печку сажает и, как с винтовкой Мосина, начинает показывать приёмы. Командует: «К ноге! И чёткими движениями перехватывает лопату. «Ать-два-три...» «На плечо! Ать-два-три! Шагом арш! Ать-два, ать-два!»

При всей его любви к службе в красную армию добровольцем он всё же не пошёл. Белую армию тоже не считал своей. Всё-таки присягу он принимал не на верность белым или красным, а на верность царю и Отечеству.

В годы гражданской войны был случай, когда его под страхом расстрела вовлекла под своё знамя какая-то проходившая мимо банда. Отец проследовал с ней до пункта сбора в Бугульме, ночевал там. И, несмотря на грозные предупреждения расстрела в случае самовольного оставления сборного пункта, ночью отец сбежал. Прямоком, не выходя на большую дорогу, полями и лесами, он к утру на другой день прибежал домой. За две коротких летних ночи по бездорожью он преодолел расстояние в восемьдесят километров. К великой радости матери возник перед ней как привидение поутру, когда она вышла зачем-то в огород. Банда в деревню не возвращалась, разыскивать «дезертиров» у банды не было ни сил, ни времени. На пятки наступала Красная армия.

В деревне отца уважали, слушались, советовались с ним, побаивались его острого языка. Стыдить и критиковать во здравие он умел. Не стеснялся сказать и на собраниях. Но, надо отдать должное,

никого за всю долгую работу в сельсовете он не отдал под суд, хотя был не прочь иногда припугнуть нашкодившего. Сам не доносил и следил, чтобы доноски в деревне не заводились. В годы репрессий его позиция, бесспорно, сыграла свою роль в том, что ни один житель Егорьевки не был репрессирован. Бериевская чума деревню, слава богу, миновала. Мало было таких деревень!

Людей он принимал, где застанут: в сельсовете, в поле, дома, во дворе. Печать носил всегда с собой в кисете. На ходу мог дать справку, заверить бумагу и т.п.

В общественных делах, за работой отца я видел часто, мы бегали на собрания, не сходки. Особенно, когда они проходили под открытым небом, где-нибудь на травке около сельсовета. Там отец выступал. Говорил горячо, образно, на простых примерах из жизни.

Но больше я знал его домашнего. В семье он бывал горяч и вспыльчив, но отходчив. На меня он больше всего влиял примерами со стороны.

- Не люблю я слёз. Особенно, когда призывники плачут, - говорил он. - Солдат без малого, а в слезах. Не-ет, смотри вон - Колька Муринов. Ни одной слезинки не уронил, его в армию провожали. Чего плакать? Пусть бабы и девки плачут. Солдату плакать не пристало. Не к лицу!

Я помнил это и не плакал, когда пришла очередь моя идти на службу.

Не любил и напрочь отметал он и жалобы мои, если побитый более сильными я приходил с улицы в слезах и пытаться найти у него утешения и защиту.

- Так тебе и надо, - жёстко заключал отец. Не будешь водиться с кем попало. - Слезы мои сразу просыхали, ибо продолжать плакать дальше не имело никакого смысла. После одного-двух таких уроков я перестал бегать к отцу с жалобами и в уличных стычках полагался теперь только на собственные силы.

Крестьянскую хитрость и предприимчивость отец называл политикой. Если я упускал где-то явную возможность сделать что-либо для своего домашнего хозяйства, отец отчитывал меня, приговаривая:

- Экий ты простодырый, однако. Всё ты без политики делаешь, а политику забывать никогда не надо. Ты немножко похитрее будь. - И отец, хитро прищурясь, подмигивал мне.

В хорошем расположении духа любил пошутить. Внимательно следил за всеми событиями в мире, регулярно читал газеты

«Известия», «Правда», «Красная Татария», реже – книги. Любил и удивительно хитро, если можно так сказать, играть в шашки. Я у него, будучи подростком, сколько ни старался, ни разу в шашки не выиграл. Да и позже не часто случалось. В деревне и в районе его вряд ли кто обыгрывал. Любит поддразнить. Когда проигрываешь и без того обидно. А он в «сортир» запрёт, да ещё и дразнить начинает. Сложит пальцы гребешком, приставит к носу, смеётся и что-то ехидно говорит. Позорное поражение и нескрываемая радость победителя бесит, и я, беспомощный что-либо сделать в отместку, пускаю горячую слезу. Тут уж отец даёт себе волю и смеётся надо мной от всей души:

- Дурачок – дурашка, чего же ты плачешь? Это ведь игра всего-навсего. Ты что, мать похоронил? Или корову проиграл? Чего плакать-то? Вот дурачок!

Свободные минуты были редкими. Дома отец без дела не сидел. То кадочку липовую теслом выдабливает, то грабли мастерит, жердь скобелкой скоблит, верёвки из мочала вьёт, навоз из-под сарая вывозит, скотине корм задаёт. Было интересно смотреть, что и как он делает. Много он умел. Сам он и дратву делал, навивая через локоть между пальцев суровые нитки, сам подшивал валенки, выделявал овчину на шубу, пробовал сам валенки валять. Ловко забивал колья, плёл плетень, сооружал тычинник, рубил срубы.

И всё-таки интереснее всего вспомнить совместные поездки. Их было много. Он любил брать меня с собой. Ездили на пасеку в Удобновку к Козыреву – другу отца – мёд есть, в Воскресенку к Ножкиным, в луга за сеном, в Азнакаево за алебастром.

- Клеймить лес на дрова ездили, - рассказывает однажды отец матери. – К баланнинскому леснику на кордон. Выбирали сухостойные деревья. А мне один дубок уж больно поглянулся. Я взял, да и поставил на нём клеймо. Лесник увидел и давай меня ругать: «Ты чава климила? Ты клемила сруй дирва, а надо климит схуй». И всё-таки выпросил я у него этот старый дуб. Надо вот с Петькой съездить сегодня привезти. Погреб-то обвалится скоро, совсем матица сгнила.

Наступил вечер. Подъехал отец ко двору на лошади, взял топор, пилу, верёвку, меня и поехали. Мне лет шесть было. Лето. Тёплая ночь окутала луга и поля тёмным покрывалом. Пока ехали, на небо круглая луна взобралась. Смотрит на нас, дорогу в лес показывает. Лошадёнка трусит, пофыркивает, удилами позвякивает. Отец то и дело подёргивает лошадёнку, поторапливает. И что это он на ночь

глядя на думал? В баланнинском овраге перепёлка спать велит, из оврага холодком и ягодным духом тянет, вокруг волки рыщут голодные, зубами щёлкают. Так мне кажется. В темноте-то. Поплотнее к отцу присаживаюсь. Рядом не страшно. Вон топор-то!

- Тыр-р-р! – тихо повелевает отец. Приехали. Углубившись в дубраву, лошадь остановилась.

- Сиди пока. Я скоро приду, - и нырнул в лесную темноту. Слышно только, как под ногами похрустывают сухие ветки и шуршит листва. Над головой ветерок шелестит дубовыми листьями, словно деревья между собой перешёптываются. Слушая. Уши торчком. Вдруг ухнул кто-то! Душа в пятки. Кто это? Леший небось! «Эх-ха-ха!» - захохотал леший. Это он надо мной смеётся, над моей трусостью. И опять тихо вокруг. Чёрной тенью кто-то бесшумно пронёсся надо мной. «Это он!» - догадываюсь я и пишу:

- Папаша!

- Что тебе? Сиди тихо! – грозно полушёпотом отзывается отец. От неожиданно близкого и настороженного ответа страх не рассеивается. Съёживаюсь ещё туже, произвольные слёзы навернулись, жалко себя. «Вот схватит этот, который тут кричит и кружит и утащит вглубь тёмного леса. Придёт отец, а меня и на телеге нет».

Пилили. Незаконно клеймённый «сруй дуб» упал с треском. Обрубив сучья и вершинку, распилили его на три части. Грузил отец один, меня отогнал в сторонку, чтобы не придавить ненароком. Домой ехал я, сидя верхом на прохладном дубовом бревне. И на матицу хватило и на баганушки к бане.

Когда деревня исчезла, я побывал на месте нашей усадьбы. Две приметы остались жить, по которым можно было определить это место. Жил ещё тополь чучкановский и стояла, омытая дождями и отшлифованная до костяного блеска, дубовая багана, на которой держался некогда навес предбанника. Всё погребла под себя и выравнила пашня. Не различить, где был колодец, где погреб. Плуг всё выравнил. А багана дубовая стоит. И плуг её не берёт и пахари её объезжают. Торчит дубовый столбик, как языческий памятник семейному пристанищу. Как памятник дубу, который стоял когда-то в лесу баланнинском, как памятник детству.

В четырёх километрах от Егорьевки был другой лес – удобновский. Дикий был лес, нога цивилизованного человека в него не ступала. Старые деревья, уцелевшие от воровства и браконьерской руки, умирали естественной смертью – стоя. Сохли, подточенные

жучками, падали, превращаясь в труху, делая лес непроходимым. Удобновский лес всегда был засорен таким осиновым валежником. Но пойдёшь, возьми его без спроса! То-то! Не успеешь оглянуться, как на скамью подсудимых угодишь. И в лес не ездили. К чёртовой матери его, лес такой! Пропади он пропадом хоть на корню, хоть лёжа.

Отец отважился. Для растопки кизяков. Меня в помощники решил взять.

- Петька, возьми топор и иди в Балтаево, к оврагу. Там меня жди. Я лошадь запрягу, поедём в лес за дровами.

Взял я топор, через огороды к оврагу вышел, сел на луговину у дороги, жду. Сажу, топором дёрну ковыряю, мечтаю. Детские мечты сладкие, чистые и лёгкие, быстро отрывают от земли грешной, уносят куда-то высоко в поднебесье, где кружит коршун, где пышные и мягкие, как трёхдневные гусята, тучки плывут. Мечтал-мечтал и сам не заметил, как солнце к горизонту прислонилося. Отца всё нет и нет. Подумал: «Не поедет в лес папаша. Поздно уже». Пошёл домой. Мимо Серёжкиного двора иду, вижу – отец со стороны конного двора навстречу шагает. Пружинистым и решительным шагом. В руках узды, лицо у него пунцовое, глаза гневом горят-пылают.

- Ты где это, неслух, слоняешься, ... твою мать?! – рявкнул, приближаясь.

- У оврага си-сидел, те-тебя ждал, - лепечу заикаясь от страха.

- Шалопай! У какого оврага ты полдня пропадал? А-а-а! Бессовестный! – С этими словами он приблизился ко мне вплотную и со всего плеча ударил уздой поперёк спины. Я немедленно взвыл.

- А-а-а! Ты ещё и нюни распускать на всю деревню?! Паршивец окающийся! Пожалейте его! Как же! Марш бегом домой! – и вдогонку опоясал меня уздой ещё раз. Я трусцой к дому, продолжая громко реветь. Отец шёл сзади и, как будто объясняя деревне ситуацию, приговаривал: «А как же! Отец в лес без топора, как без рук, съездил, через коленку воз дров наломал, лошадь успел распрячь, а он у оврага ждёт! Хы!»

А дело в том, что в удобновский лес было две дороги и каждая вдоль овражка. Одна вдоль баланнинского, другая – вдоль Минькиного дола. Я ждал на первой, отец съездил по второй.

Так недоразумение обошлось мне хорошей выволочкой. Такое было один раз в жизни. Ни до, ни после этого отец на меня руку не поднимал.

Осталась в памяти поездка в Азнакаево. За сорок километров от Егорьевки. Для меня она была первой дальней, за тридевять земель, поездкой.

Дороге, казалось, не будет конца. Открывались всё новые и новые невиданные горизонты: поля, леса, овраги, горы и холмы, деревни. Всё это было необыкновенно привлекательным, непривычным для глаз. И всё же череда нескончаемо новых картин и чарующих пейзажей в конце концов начинала притомлять и убаюкивать, наваливалась усталость и клонило ко сну. В таких случаях я сворачивался клубком на мягкой подстилке в телеге и, обдуваемый ветерком, засыпал. В подходящих местах, вдали от деревень, где-нибудь у ручья, делали привалы. Поили и кормили лошадь, ели сами и, отдохнув, ехали дальше.

Перед какой-то деревней, проезжали крутой и длинный спуск. Таких в егорьевской округе не было. Мне показалось страшно опасно спускаться в такую глубокую впадину. Подталкиваемая телегой разнесётся слабенькая лошадёнка, упадёт с моста вместе с телегой и расшибёт нас вдребезги. Мои опасения разделял и отец. Он тоже не ручался за способность конька сдерживать груз телеги, тем более – упряжка была без шлей. И вот тут он применил до смешного простой, но гениально надёжный способ торможения. Подобрал на обочине в руку толщины палку и вставил её между спиц в задние колёса. Палку колёсами прижало к задку телеги, колёса пошли юзом.

- Теперь садись в телегу, не бойся, не разбежится.

Лошадь ровно, не торопясь, зашагала под крутую горку, плавно спуская возок. С тех пор, когда слышу поговорку «вставлять палки в колёса», я вспоминаю наше путешествие и думаю, что это не всегда плохо. Более того, иногда просто необходимо. Иначе выпадешь из тележки.

В стороне дороги возвышалась лысая вершина зелёной горы. Отец обратил на неё внимание, пояснил:

- Смотри! Это самая высокая гора в Татарии.

- Какой вышины? – спросил я.

- С километр, пожалуй, будет.

- У-у-у!

Наконец, мы приехали в Азнакаево. Деревянные домики. Надворные постройки у некоторых сделаны из дикого камня. Петляя по улицам, отец разыскал двор знакомого бабая, заехал, распряг усталого конька, задали ему корм, попили чаю и под стрекот сверчков улеглись спать.

Утром, разбуженный гоготом гусей и громким криканьем, я вышел во двор и впервые увидел незнакомую мне доселе птицу-утку. Страшно интересная и красивая птица. Так и хотелось потрогать её, погладить рукой, прикоснуться к яркому радужному оперению. Но красавец селезень оказался строгим малым и близко к себе не подпускал. В Егорьевке уток почему-то не держали.

С утра отец взял мешок табаку, который мы привезли для продажи, и отправился на базар. Торговал недолго. Табак раскупали нарасхват. Выручка составила двести рублей.

Прежде чем выехать из села, мы с отцом зашли в магазин. Среди прочего товара: хомутов, селёдки, седёлок, гребешков, фуфаяк, творога и керосина внимание отца привлекли мастерски сплетённые лапти. Он выбрал и купил мне пару лаптей за десять рублей. Расплатились. Взяли покупку и вышли. Не дойдя до лошади, сунулся отец в карман, а там одна сторублёвая лежит. Стукнул себя ладонью по лбу, вспомнил тотчас и растерянно развёл руками:

- Батась! Где у меня деньги-то? Вместо десятки-то я сотню отдал за лапти и сдачу не попросил!

Вернулись в магазин. Долго отец выяснял отношения с продавцом, громко спорил, бесполезно. Продавец стоял на своём:

- Ничего не знаю. Сдачу мин тиба отдала!

Оставалось только вздыхать да сокрушаться по случаю своего ротозейства и наглости продавца. Что отец и делал. Через годы, вспоминая эту поездку, спрашивал:

- А помнишь, как мы тебе лапти за сто рублей купили? – и весело смеялся. – Вот лапти так лапти.

Алебастр в Азнакаеве добывали в карьере над высокой обрывистой кручей, с которой открывался дух захватывающий огромный простор степи. Как на ладони просматривалось всё село и близлежащие деревни.

Кусками алебастра нагрузили тележку, отправились в обратный путь.

Выйдя живыми с голодной зимовки, коняшка был слабенький, истощённый. Энергии у него не хватало даже на то, чтобы сбросить с себя линьку. Ходил полуоблезлый, в клочьях прошлогодней шерсти. Шёл теперь с гружёной тележкой, из последних сил выбивался. Первые пять-десять километров коняшка шагал терпеливо и старательно, роняя клочья шерсти и белые пышные шмотья мыла на пыльную землю. Дальше – больше начал уставать и останавливаться. Пройдёт малость, встанет. Повесив тяжёлую голову, дремлет, ветром

его бедолагу покачивает. Стегнёт его по боку отец раз, стегнёт другой. Выйдет меринок из забытья, раскачается, поднатужится, сдёрнет с места телегу и, пока его тормозат и подстёгивают, шагает дальше. Стоит отцу отвлечься, смотришь – опять встал. Отец и так, и сяк старается помочь бедной животине. Под горку в телеге сидит, на подъём спешивается, телегу сзади подталкивает, помогает возок везти.

На луговине возле дороги, где густо пробила свежая травка, остановились, дали лошади попасть, сами подкрепились остатками домашнего подорожника. После чего отец нам с лошадью объявил:

- Вон в ту деревню приедем, у колодца остановимся, воды напьемся. Нн-о-о!

Дотащились до деревни, остановились у колодезного журавля. Зачерпнул отец бадейку, сам напился, мне дал, а лошади поднести – ведра нет. Из бадьи поить не принято, тем более в чужой деревне. Увидят хозяева, как посмотрят? Что скажут?

- Схожу, попрошу ведро, - сказал отец и скрылся за калиткой. Постучался в дверь. В сенях слышались шаги, вопрос по-татарски:

- Кым бу?

- Хозяина мне.

Звякнула щеколда, на крыльцо вышел распаренный с расстегнутым воротом гимнастёрки молодой милиционер. Пахнущий новенькими ремнями амуниции, водкой и дешёвым одеколоном страж порядка с явным негодованием разглядывал незнакомого человека, который так некстати появился тут в минуту его интима.

- Тебе чего? – спросил, продолжая ощупывать фигуру отца оценивающим взглядом.

- Хозяина мне. Ведро попросить. Лошадь напоить.

- Ты кто такуй?

- Разве не всё равно, кто я такой? Еду вот из Азнакаева. Лошадь устала, напоить надо, а ведра с собой нет.

- Я тибя спрашиваю, кто такуй? Куда едешь? – повысил голос участковый. Рука его потянулась к кобуре.

- Егорьевский я. Алебастр везу.

За спиной милиционера в дверях показалась румяная молодуха. Тот сразу почувствовал её вдохновляющее присутствие. Голос его зазвучал более решительно, в движениях появились кураж и бравада. Он разыграл сцену, которая могла во всём блеске продемонстрировать мощь его власти.

- Стучит, панимаешь, дверь. Избу ламаится. Ведро давай! – обращается он к молодой. И снова пошёл на отца:

- Бродяга! Знаем мы ваша ведра! Кто такуй?! Дакумента дай! Показывай документа!

- Нет у меня с собой никаких документов.

- Нету?! – Милиционер выхватил из кобуры револьвер и скомандовал:

- Тиба аристуваный!

Молодка на всё происходящее смотрела с восхищением. На крыльце родного дома совершалось событие. Её возлюбленный показывал чудеса героизма при задержании бродяги, может быть очень опасного преступника, бандита или беглого. В конце войны и после много таких бродило по российским захолустьям. Сцена ареста её захватывала.

- Ну дак что же? Арестовал, так арестовал. Сажай меня куда тут. Только вот печать... - Отец вынул из кармана шаровар испачканный чернилами мешочек с печатью. – Печать попрошу тебя, блюстителю порядка, передать в Муслюмовский райисполком на сохранение. В протокол запиши, что изъят её у арестованного председателя Долинина.

- Какуй печать?!

- Не какой, - поправил его отец, - а какая. Гербовая. Новогорьевского сельского совета депутатов трудящихся, - разъяснил он и протянул мешочек милиционеру.

Участковый такого поворота событий не ожидал и явно растерялся, заморгал хмельными глазами. Посмотрел на печать, перевёл взгляд снова на фигуру отца и, как будто увидел его впервые, снова начал изучать натуру. С жиденьких седых свалевшихся волос, с худого пыльного, испечённого весенним солнцем морщинистого лица, на котором колюче топорщилась щётка усов, с небритого подбородка взгляд его скользнул по обтрёпанным рукавам выгоревшей рубахи, остановился на заплатке, которая криком кричала на коленке шаровар и закончил свою экскурсию внимательным осмотром брезентовых бахил и резиновых галош, подвязанных бечёвками. На вид, с самого начала настороживший бдительного милиционера, отец, действительно, походил на бродягу, который успешно переехал Байкал, на крестьянских хлебах и махорке парней продрался сквозь сибирскую тайгу и теперь вот очутился в Сапееве, в лапах удачливого сыщика.

- Присидатил? – искренне удивился милиционер, осмотрев отца.
– Такуй присидатил?

Тон разговора отца и печать всё же убедили милиционера, что перед ним в самом деле председатель. Он понял, что ошибся, поторопился объявить об аресте. Спрятав на место оружие, милиционер заискивающе заулыбался, развёл руками и моментально перевоплотился в хлебосольного хозяина:

- Извиняй, присидатил. Мал-мал ошибка давал. Заходи изба чайка пить.

- Спасибо. Не хочу. Лошадь вон хочет.

- Нурия! Ведра давай присидатил!

Напоил отец лошадь, сел в телегу, возбуждённый, взъерошенный и злой.

- Нн-о-о! – закричал на меринушку. Отдохнувший конёк неожиданно шибко взял с места и трусцой побежал по пыльной дороге вдоль улицы. Отец долго хмыкал, сокрушённо крутил головой, а когда возмущение в душе улеглось, рассказал мне обо всём, что произошло там, во дворе:

- Это он, сукин сын, перед своей зазнобой выкаблучивался. Посмеявшись, добавил: «Вот уж поистине: по одежке встречают, по должности провожают».

КИЗЯКИ

Перед сенокосом в каждом доме занимались заготовкой топлива на зиму. Дров район не выписывал. Воровать лес - далеко. Да, кстати будет сказано, жители Егорьевки к воровству были совершенно не способны. Многие были безграмотными: в бумагах, где надо расписаться, крестики ставили, но честь и совесть, нравственное наследство своих предков, с молоком матери полученное, хранили свято. Только в шестидесятых годах, перед своей кончиной, деревня начала спотыкаться и под влиянием хрущёвских реформ терять свои нравственные ценности. Появились «несуны». Мелкие хищения сначала дали робкие ростки, потом укоренились и буйно расцвели на совхозной ниве. Ну, это так, к слову.

В послевоенные годы, как и в войну, егорьевцы заготавливали торф, залежи которого находились на так называемом колхозном огороде. Около родника. Надо пройти там по качкарнику, трясинке и ближе к зарослям кустарника выбрать место с учётом возможностей подъезда. И копай. Верхний слой чернозёма, сантиметров двадцать,

можно снять обыкновенной штыковой лопатой. А глубже открывалось чудо, приковывающее к себе внимание пацанов. Там природа хранила одну из своих интереснейших тайн: удивительный пласт полуистлевших, на века законсервированных в чистейшей ледяной воде, болотных трав и водорослей. Слой за слоем они откладывались здесь сотни, а может, тысячи лет. Стебли, листья древних папоротников, хвоща, осота, камышей, мха и другой растительности, составляли плотно спрессованную органику, горючую смесь.

Для копки торфа у егорьевцев появились специальные лопаты, лезвия которых были выкованы в виде буквы «Г». Такая лопата отрезала ломоть слоёного торфа в виде длинного кирпича-полена, удобного для транспортировки и закладки в печь. Яму копали небольшой площади, чтобы за один день успеть пройти её до дна. Пласт торфа был толщиной метра полтора. Вода обильно сочилась из стенок и за одну ночь могла заполнить яму до краёв. Тут же кирпичики мокрого торфа складывались пирамидами для просушки.

Ямы, заполненные водой, как аквариумы, обживались светло-зелёными поджарыми и голенастыми лягушками и использовались для замочки конопли.

Но основным видом топлива в деревне были кизяки. Об искусстве производства кизяков в Егорьевке можно написать поэму, тем более что нынешнее поколение мало что смыслит в этом виде топлива. Чтобы составить себе представление о кизяке, надо хотя бы вкратце ознакомиться с технологией его изготовления.

Перепревший в куче навоз, скопившийся за зиму, поливали водой и месили. Для замеси чаще всего брали лошадь и водили её по кругу. Замешанный навоз руками набивали в станок-форму, кулаками плотно утрамбовывали, ладонями разглаживали поверхность. Затем скользящими движениями по широкой мокрой доске станок, как чемодан с хрусталём, осторожно плавным движением поднимали за ручку и несли к месту просушки на площадку во дворе или перед домом на улице. Там аккуратно вытряхивали кирпичи из форм. Кизяки формировали, в основном, подростки. Для них это была своеобразная игра, поощряемая взрослыми. Близкая к спортивному соревнованию – эта игра в деревне пользовалась широкой гласностью. Помню, одно лето отличился Генка, дяди Ильи Муринова. Сколько разговоров было! За один день он сделал семьсот кизяков. Это был рекорд.

Когда я дочитал воспоминания до генкиного рекорда, по изготовлению кизяка, Нина внесла решительную поправку:

- Мы с Надькой Уховой делали больше, чем семьсот. Так что насчёт генкиного рекорда ты не больно-то! Я их с шести лет делала, а как побольше стала, то одна заготавливала за лето по три-четыре тысячи штук!

Это был удар по моему повествованию. Но когда я пришёл в себя, то спорить и стоять на своём не стал. Кто их, эти кизяки считал? Слухи часто бывают обманчивы. Мне, пожалуй, даже лестно поверить и согласиться, что более тридцати лет со мной бок о бок живёт егорьевский рекордсмен по производству кизяков.

Вот и всё о кизяках. Остаётся добавить, что я тоже с удовольствием месил навоз, гоняя верхом по кругу лошадь и прилежно трудился над станком, стряпая навозные поленья. Все мы егорьевские подростки тех лет насквозь пропитаны навозным духом. Нина и теперь, когда в огороде работает с навозом, потягивает носом и со слабой улыбкой на лице жмурит глаза, наслаждаясь родным ароматом далёкого детства.

СЕНОКОС

Самой массовой и весёлой колхозной работой был сенокос. Честно говоря, я очень сомневаюсь: найду ли нужные слова, чтобы изобразить многоцветную картину всемирной вылазки на луга. Поэзия сенокоса не подвластна моему сухому канцелярскому перу. Всю жизнь писал всякие там постановления, приказы, инструкции, акты и прочие бюрократические произведения. А тут сенокос! От одного воспоминания по телу ласковая зыбь пробегает, а внутри что-то нежное тает и растекается.

Чертовски хорошо было в лугах! Так хорошо, как бывает только тогда, когда тебе двенадцать-шестнадцать лет, и лето кажется вечностью, когда за одно лето ты можешь вырасти на пять или даже восемь сантиметров. В этот период жизни всё кажется новым, ярким и удивительно прекрасным. Состояние души деревенского подростка не поддаётся никакому сравнению. Но не каждому дано испытать это. Кто в детстве и юности не сенокосил, не вдыхал медовый воздух разнотравья, смешанный с запахом конского пота, кто не обливался своим – бедный тот человек! Как много он потерял, не испытав чувства жаркого, ласкового и целебного соприкосновения с чистой гранью цветущей природы.

Июньские ночи коротки. Потоптались перед избой-читальней, посидели на брёвнах, по домам разошлись. Только забрались с Шуркой Уховым на сеновал, с насеста над самым ухом петух загорланил. Полночь. Не успеешь сном забыться – бригадир у ворот:

- Эй, ребятки! Орлы! Петюшка! Сашок! Хватит спать! Берите лошадей, будете сено к омётам подвозить. Девки - сгребать, бабы - накладывать, а вы - возить. Ванька, Серёжка, Мишка тоже возить будут.

Дал наряд дядя Коля, убедился, что проснулись и слышали его, к следующей избе зашагал. Глаза слипаются, голова от недосыпу как чугунная гудит, а идти надо. Вон скотину с конца улицы в табун выгоняют. На всю улицу от избы Лошкарёвых раздаются хлопки пастушьего кнута и трёхэтажный мат Елизара, которым он с утра пораньше безответную скотину обкладывает. Хоть бы ягнят постеснялся. Над речкой белой пеной туман стелется, на траве густая роса мелким жемчугом рассыпана. Пока бежишь до конного двора - концы штанин насквозь мокрые, начинают зябко прилипать к босым ногам. На конном дворе начинается сенокосный рабочий день. Там ребятня получает сбрую, взнуздывают лошадей, смазывают оси, забивают чекушку. Лошадей берут каждый свою, как бы закреплённую на всё лето. Конюхи давно знают, кто на какой работает. Шурка Ухов, как шустряк, захватил резвую красавицу Лебёдку, Ванька Староверов – рысистую и сильную кобылу Маньку – мать Лебёдки, Серёжка Верин брал покладистого и работоспособного Сивка. А мне, как самому медлительному и уступчивому, доставались коняги, на которых никто узду набрасывать не торопился. То мощная, самая неторопливая, крупная, как баржа, Ласка, на которую хомута не подберёшь, то самый маленький, хотя и старательный, гривастый меринишка Марсик. На нём не очень-то разбежишься, если скажем, кто - кого...

На Марсике боевым парнем не нарисуешься, должного впечатления на девчонок не произведёшь. Всё время в хвосте, как утлый старичишка, плетёшься.

Другое дело Лебёдка! Смотри, деревня! На миловской улице земля дрожит, копыта стучат, колёса гремят, пыль клубится! Прильните, девки, к окнам, всмотритесь в лихую фигуру, в суровое, запылённое лицо наездника. Видите, как он кепку козырьком назад заломил? Как на нём рубаха парусом раздувается? Как он взвинчивает над головой концами тесмяных вожжей? «Нн-о-о!» - баском покрикивает наездник, кося глазами на окна пробегающих

мимо избушек. Лебёдка как стрела, с тугой тетивы выпущенная, стремительно покоряет пространство улицы. Узнали наездника? Конечно же! Кто ещё так сумеет?

- Шурка приехал! – замечает одна.

- Отчаянный парень! – говорит другая.

- Лихач-ухач, - подтверждает третья.

Собираются миловские бабы и девки к шуркиному двору. Косы, грабли, вилы в арбу складывают, сами, как стрижи на проводе, на грядках рассаживаются. Одна запекает, остальные подхватывают, и разливается над Егорьевкой песня.

По-за лугом зелененько, по-за лугом

Брала дева лён древненько.

Она брала, выбирала,

Тонкий голос подавала.

Там Василько сено косит,

Там Василько...

Льётся песня над лугами. На лугах рядками душистое сено лежит. Там, где ещё не скошено, трава качается под ветром и радуется глаз цветами клевера, колокольчиков, кашки и прочего разнотравья. Бабочки порхают, жаворонки звенят, в кустах коростель скрипит, подзывая жеребят, ржут лошади, косари брусками вжимают, косы точат. Жаркий разгорается день.

В тени под вёслами на колхозном огороде полевой стан обживается. Там дядя Матвей молотком стучит, косы пробивает. Поварихи котлы готовят, похлёбку варить собираются.

Маня Долинина и Емельяниха сено на воз накладывают. Лизка Ухова, Нинка и Валька Муриновы граблями подгребают, а мы с Ванькой, чередуясь под погрузкой, возим сено к омётам. Воз за возом, дело потихоньку идёт.

Стог мечут мужики и парни призывного возраста. Парням в радость поиграть мускулами, силу свою показать, да и мужики отставать не хотят. Крепкие были мужики: Сергей Юмуков, Павел Михайлович Крылов, Александр Сидякин, а Шурка Печников в годы юности своей очень ярко выделялся среди сверстников могучим телосложением и не знал себе равных по силе, пожалуй, во всём районе. Свалишь сено с воза, не успеешь отъехать, смотришь - его почти враз подхватили и наверх метнули. По полвоза, считай, на трёхногие вилы нанизывали. Чтобы упереться концом черенка в землю, кто-нибудь спросит: «Наступи-ка, Петька, мне на хвост». Поплыла огромная ноша вверх. Подхватил мужик черенок вил

половчее, приподнял навильник, разбежался, подскочил, крикнул и резким движением сбросил пласт на верхотуру. Как будто тут и было!

Июньский день разгорается быстро. На смену росе и утренней прохладе, когда косить легко и возить приятно, полуденный зной приходит. Чем жарче нагревается воздух, тем сильнее одолевают лошадей слепни, комары и прочие кровососы. Роем увиваются под брюхом животных и никакого спасения от них нет.

Два случая, провокаторами которых явились насекомые, мне хочется вспомнить.

В обеденный час, когда лошади, одолеваемые слепнями, ведут себя крайне беспокойно; Мишка Фомичёв, как и другие ребяташки, с той лишь разницей, что без узды, сел верхом на своего послушного обычно Буланку и, нахлёстывая путами, погнал его на речку купаться. После обеда на работе не появился.

Встречаю его через несколько дней на улице.

- Ты чего это, Мишка, на сенокос не выходишь?

- Я теперь вольный казак. Где хочу, туда гуляю.

- А руку зачем на шее привязал?

- Буланка, гад, в ворота затащил. В кошар мимо пруда меня унёс - и в ворота! А ворота там низкие, почти холкой лошадь задевает. На всём скаку он, сукмишша, хряснул меня об перекладину, вот ключицу сломал. Теперь в гипсе.

Поведение лошадей было непредсказуемым. Слепни, как псы цепные, набрасывались на животных. Лошадьми даже с вожжами в руках было трудно управлять. Как не кричи «тыр-р-р!», как не спрашивай «куда ты пошла, зараза?», как не тяни вожжи - ничего не помогает. Только поднимет Емельяниха навильник, лошадь вдруг дёрнет арбу и пошла. Сено мимо воза. Опять сгребай Емельяниха, опять поднимай. Сначала было тихое ворчанье. Раз мимо воза, второй. Голос всё громче и громче. Разошлась Емельяниха. Пена у рта появилась. Давай нас с Ванькой ругать, давай стыдить нас. Мол, не можете лошадьми управлять. Ездоки называются. Ванька слушал-слушал, хитровато щурился, ухмылялся, затем взглянул в небо, смахнул рукавом со лба воображаемые капли влаги и ехидно с расстановкой, так, чтобы все слышали, поставил перед Емельянихой убийственной силы вопрос:

- Незнай дождик накрапывает, не знай ты, Емельяниха, слюной брызжешь?

У говорливой Емельянихи сразу нижняя челюсть отвисла, язык отнялся. Наступила зловещая, словно перед грозой, тишина. Розовощёкий хитрован Ванька стоял, конфузливо жевал свои улыбчивые губы. Девчата перестали сгребать сено, в ожидании развязки стояли, затаив дыхание. Предгрозовая пауза была небольшой. Скорая на язык Емельяниха не заставила себя ждать. Её гнев стремительно вышел из берегов и мутным потоком хлынул на бедного Ваньку:

- Ах ты, сопляк паршивый! Ах ты, Панкрашка недоношенный! Ублюдок ты голоштаный! Брызнули ему! Поди-ка ты какой! Как поросёнок карапузый! От горшка два вершка, а туда же! Пиздюк голожопый! – и пошла его чехвостить в том же духе.

В ответ на столь цветистую брань мы немедленно разразились неуёмным хохотом и долго потом не могли остановиться. Как вспомним этот набор цензурных и не очень выражений, так снова хохотать. Как ни странно после этой сцены слепни стали меньше приставать и кусать, лошадь перестала дёргаться, работа пошла веселей. А Емельяниха, как только выплеснула из себя всю злость и негодование на Ваньку, так сразу обмякла, притихла, и вскоре на её губах мелькнула добрая отходчивая улыбка.

Жалко Фомича, его ключицу жалко. Бедный, ходит и на сенокосе не может работать. Хоть он и забияка, хоть и на мне зимой верхом ездил, пипку у шлема отгрыз, а всё равно его жалко. Всё-таки он не всегда вредный. За шлемы его отлупили и расквитались. Зато когда к ним брат Пашка приезжал, Мишка приглашал патефон слушать и вкусной колбаской угостил. Жирная, чесноком пахнет, а жир по пальцам так и течёт. Это всё брат Пашка ему привёз: и патефон, и колбасу. Мало только! А патефон слушать очень даже интересно.

Обедать рассаживались в тени кустов и деревьев поближе к котлу, в котором варилась мясная похлёбка. От котла по кустам разливался аппетитный дух вкусного варева и смешивался с ароматом травы, сена, конского пота. Похлёбке люди радовались. Держит человек протянутую миску, ждёт, когда тётка Настасья опрокинет в неё черпак, а радость – вот она, в глазах искрится, в улыбке, в шутке:

- Лей полным, тётка Настя. Закон тайги: медведь хозяин, черпак – норма.

- Кому ещё добавить? Кому повторить?

Редкая летом еда – мясо. Кто летом скотину забивает? Разве что барана на Петров день, чтобы подкрепить свои силы перед страдой. Колхоз во имя общественного питания в дни сеноуборочной в послевоенные годы жертвовал животинкой покрупнее. Как правило, тайно от районных властей. Скотина забивалась под предлогом несчастного случая: перелом ноги, потеря зрения и т.п. Упаси бог забить бычка просто ради поддержки колхозников. Уличит райком в головоутишении, вредительстве, антинародной политике сокращения поголовья. Греха не оберёшься!

Вопреки всему, на сенокосе мясо бывало. В отдельном котле заваривался чай. На белых рушниках лежали круглые караваи ноздрястого хлеба. Хлебали понескольку человек из одного блюда. Кто лёжа, кто сидя на траве. Поевши, попивши, не сходя с места, забывались коротким сном.

Девчонки собирали кисти спелых ягод клубники, букетики луговых цветов, ребята бежали к роднику – пить ключевую воду, отправлялись верхом на пруд – купать и поить лошадей.

К вечеру сено свезено и закировано. Гора с плеч! Снова все рядком в арбу, снова разносится песня. Едут колхозницы встречать табун, доить коров, варить ужин. Ребята отпускают лошадей и, не заходя домой, с уздечками в руках бегут на пруд купаться.

По вечерам вода ласковая, тёплая «как шшолок»! Нет выше блаженства – после знойного дня погрузить горячую пыльную голову, загоревшее, раздражённое потом и сенной травой тело в речную воду. Счастливая пора!

Но был случай, который в память о сенокосной идиллии внёс незабываемую полную ужаса картину.

В разгар сенокоса, однажды на балтаевских лугах, группу баб, мужиков и ребятшек накрыла густая дождевая туча. Подкралась она как-то неожиданно и враз заслонила небо, разразилась вдруг близкими ударами вертикальных грозовых стрел. Сразу было видно, что гроза разыгрывается не на шутку. Председатель Иван Сергеевич увидел, как быстро надвигается тёмная стена дождя, скомандовал всем в укрытие. Бабы тут же на незаконченных рядках, кто где был, побросали косы, вилы, грабли, ребята оставили лошадей – все побежали в укрытие под незавершённый стог сена.

На лугу осталась одна женщина. Задержалась она, чтобы сделать несколько последних взмахов косой и закончить свой рядок. Так она, видимо, решила. Минутное же дело!

Но минута оказалась роковой. С небес над стогом, где спрятались люди, с треском и ослепительным блеском сорвалась молния. Ошалелые от удара мальчишки, скрывая свой испуг, подпрыгнули в своих лежанках, восторженно завопили в знак приветствия стихийной силы. Но тут же раздался другой крик:

- Настя! Настя! Упала! Убило!

Все бросились к концу покоса. Настя лежала без движения. Ручка косы выпала из рук. Кто-то живо распорядился:

- К речке несите её, к речке! В песок! Закопать надо! И очнётся!

Люди не знали, что надо делать в таких случаях. Они выполнили бы любую команду, лишь бы не стоять без движения, лишь бы что-то предпринять. Несколько рук подхватили тело в прилипшей мокрой одежде, быстро понесли к берегу речки. Там раздели и закопали в ил, оставив снаружи только голову. Настя не очнулась. Не ожила. Не разбудили. Массаж сердца и искусственное дыхание, которые возможно могли бы вернуть её к жизни, тёмным егорьевцам в то время не были известны...

САБАНТУЙ

Если самой-самой работой был сенокос, то самым замечательным по широте размаха праздником был для нас сабантуй. В Егорьевке его называли «зиин». В райцентре зиин устраивали обычно в воскресный день второй декады июня, а в деревнях проводили его неделей раньше. К празднику, как к нижегородской ярмарке, задолго и основательно готовились. Взрослые кумекали, чего там продать, чтобы вырученными деньгами рассчитаться с госналогами, справить детям одежонку. Для продажи заваривали квас, готовили табак, нюхалку, квашенную капусту, животину какую, птицу и прочее.

Ребятя за неделю до зиина мыкалась по деревне в поисках того, чем бы ярче нарядить свою повозку. Искали ленты под дугу, колокольчик, украшали узду бляхами и разными наклёпками. Баланнинские глашатаи ходили по деревне с длинными шестами, на которые привязывали собранные у населения полотенца, куски разноцветной материи, платки. Всё это шло потом на поощрение участников сабантуя, разыгрывалось в качестве призов.

Рысака и верховых лошадей, отобранных для участия в скачках и бегах, освобождали от повседневной обычной работы, ставили на усиленный рацион и тренировали. Побольше отпускали им овса,

давали лучшего сена, высококалорийную подкормку в виде болтушки с добавлением куриных яиц. Рысак чаще всего готовил к бегам и выезжал на нём сам председатель Растатурин Иван. Позднее, когда в колхозе появился породистый рысак русско-орловских кровей, купленный за одиннадцать тысяч на конезаводе №57 Куйбышевского района, под кличкой Конспект, тренировал его и выезжал на бега дядя Яков Масынов.

Помню, один раз, в 1949 году, сабантуй проводился даже в Егорьевке. На егорьевском сабантуе были скачки. На лучших колхозных лошадях парни скакали от мазарок до кузнецы. Мальчишки и девчонки по отдельности бежали наперегонки от Балтаева до майдана, напротив клуба, где раньше когда-то, по рассказам, стояла церковь. Первой прибежала ученица четвёртого класса Нинка Муринова. Внимание публики приковала к себе борьба. На её заключительном этапе за звание абсолютного чемпиона несколько раз сходились в схватке Иван Растатурин с допризывником Колькой Кукорем. Колька в конце концов одержал победу. Известным приёмом он ловко бросил через себя упитанную тушу председателя. Оба были они примерно одной весовой категории, килограммов по сто. Но дядя Иван был лет на двадцать старше своего мощного соперника и по-барски рыхловат.

Мы везде успевали. И в Егорьевке, и в Баланнах, и в Муслюмове были обязательными, искренними и темпераментными болельщиками, а некоторые и сами в различных играх и состязаниях участвовали.

В места проведения сабантуя стекалась, пожалуй, большая половина населения. В Баланнах сабантуй проводили на горе. Давайте и мы потолкаемся в этой пёстрой и шумной толпе, мысленно перенесёмся в те давние времена. Остановись и посмотри, что делается в центре этого круга. Здесь с завязанными глазами, сбитые с толку вращением на месте, палкой бьют горшки. Вот занёс палку над головой и с размаху ударил по земле! Толпа разочарованно загудела и засмеялась. Горшок остался невредимым, он стоял совершенно в другой стороне. В другом кружке – тоже с завязанными глазами – пытаются состричь ножницами сувениры, на нитках подвешенные к перекладине: носовые платки, пузырьки одеколona, гребешки, пластмассовые портсигары, мыльницы и прочую мелочь.

Рядом другая игра зевак собрала. В центре круга таз с катыком. Надо со дна таза губами ухватить и вытащить пятак. Стоя на коленях перед тазиком, старательно ныряет мордой в тазик здоровенный

детина баланнинский Саубан. Всё никак не может нащупать и ухватить монетку. Вытащил голову из катыка, по брылам течёт, а во рту пусто. Переведёт дух и опять головой в катык. Хохот стоит. То-то потеха смотреть на вымазанного катыком до ушей незадачливого балбеса.

Ловкачи безуспешно пытаются залезть на гладкий высокий шест, на макушке которого в клетке сидит петух. Многие зарятся на петуха, да редко кто до середины шеста докарабкивается.

А в степи другие разные события разворачиваются. Там джигиты на лошадях скачут. Кто-то первый придёт. Волнуются болельщики, спорят. Там же началось не менее захватывающее состязание среди старейшин села. Вдали взяли старт и семянт, приближаясь к майдану, сивобородые старцы. Воистину решили тряхнуть стариной. Участникам этого забега на дистанцию в один километр должно быть не меньше шестидесяти лет от роду. Таково условие соревнования. Десятка полтора стариков в тюбетейках и без, все как один в белых подштанниках, развёрнутой цепочкой теперь вот трусят полегоньку к майдану. Кто босиком, кто в сандалиях. Я бы не сказал, что они бегут, они торопливо идут какой-то странной иноходью. Психическая атака да и только! Друг на друга озираются. Тяжеловато наблюдать психологическую борьбу бегущих бабаев. Сдержанный бег, не давая повода для всплеска эмоций, нагнетает атмосферу напряжённого сопереживания и растущего накала. Никто не вырывается вперёд, каждый бережёт силы для завершающего броска. С приближением цепочки к финишу напряжение болельщиков нарастает до предела. Кто же? Кто? Триста метров до финиша не дают ответ на этот вопрос. Боже мой, когда же вы начнёте? До финиша осталось метров двести. Только теперь, наконец, деды рванули вперёд во всю оставшуюся прыть. Цепочка сразу распалась, толпа болельщиков разразилась восторженным рёвом и гиканьем. Исход борьбы решили последние метры.

Вперёд вырвался сухопарый жилистый аксакал. Потряхивая козлиной реденькой бородёнкой, увеличивая разрыв с преследователями, он быстро приближался к финишу. Тут вблизи, когда зеваки рассмотрели фигуру чемпиона подробно, когда увидели, что ширинка его кальсон широко разинута, а содержимое болтается в такт бега; грянул взрыв смеха, на победителя обрушился шквал шуток и острот:

- Ай да бабай! Смотри, скворец-то вылетит!
- Хитрый бабай. Знат чё остужать надо! Гы-гы-гы!

- Зато и присыпал первым!

- Уй-юй-юй! Держите меня! Уй-юй-юй! Умру со смеха!

Но вот наступал канун сабантуя – муслюмовского. Работая наравне со взрослыми, мы тем самым располагали полным доверием взрослых – отправляться на сабантуй самостоятельно, отдельной повозкой, без опеки взрослых. Всё было готово к поездке: колокольчик со старинной надписью «Дар Валдая» гвоздями прибит к дуге, для надёжности ещё и ремешком привязан. Дуга и узда украшены шёлковыми лентами и бумажными цветами, лошадь с вечера выкупана со щёткой, грива и хвост очищены от прошлогодних репьев и расчёсаны, арба по периметру обшита досками-скамейками, колёса смазаны. Что ещё? Деньги, рублей восемь на морс и другие расходы, ещё вчера выпрошены у матери и упрятаны в карманы штанов. Главное теперь – не проспать бы завтра. Чего греха таить, бывали такие случаи. Помните, самолёт проспал?

Утром, чуть свет, по холодку собирались у колхозного амбара, где в подготовленную арбу запрягали вислопузую спокойную кобылу Сирень. Взрослые в дела не вмешивались и, стоя в сторонке, посматривали на наши приготовления. Рассаживалась ребятня по краям арбы на скамейки. Кому не хватило места, садились друг другу на коленки. В арбе размещалось человек восемнадцать.

- Нн-о-о! Трогай!

Сирень без усилия брала арбу с места, под дугой раздавался серебряный звон колокольчика, ветер теребил, развевая, разноцветные шёлковые ленты, девчонки с ходу запевали:

«Расцветали яблони и груши,

Поплыли туманы над рекой».

Дядя Илья Лошкарёв, растроганный нашей песней, стоя у амбара, вытирал рукавом непрошенную слезу умиления. Нарядная повозка и звонкая песня уплывали по егорьевской улице в сторону Чекмака. На зиин!

Чекмакская гора длинная и местами крутая. Одолеть её Сирени с грузом было не под силу. Шли пешком, громко разговаривали, смеялись, толкали друг друга, озорничали. Шалость и неосмотрительность на чекмакской горе однажды для Маруськи Лукониной закончилась плачевно. Нога её попала под колесо арбы. И день праздника был для неё испорчен, потом она долго не могла ходить – лечила травмированную ногу.

В Муслюмове тогда, да и теперь наверное, зиин на выгоне юго-западной окраины села, где была базарная площадь. Народу

собиралось многие тысячи. Тут и там на траве в разных местах кружками сидели встретившиеся здесь из разных деревень родные, знакомые, друзья, близкие. Пили водку, закусывали, чем Бог послал, пели песни, плясали. Шумное скопище людей перехлёстывалось трелями детских свистулек, переборами гармошек, тальянок, подвыпивший люд горланил татарские и русские песни, частушки. Базарная площадь гудела и бурлила торговой толчей. В палатках, с лотков и прилавков продавали морс, квас, пряники, конфеты, леденцы, табак, папиросы, парфюмерию. В разных углах базара можно было увидеть кучу глиняной посуды: горшки, кринки, плошки, чашки, свистульки, горы свежих лаптей разных фасонов и размеров. От детских лапотков до огромных лаптищ, впору разве только снежному человеку. Каких только нет самодельных половиков, ковриков, шалей, полушалков, платков с набивными узорами! Глаза разбегаются! О качестве, конечно, говорить не приходится. Зубоскалы шутили, называя такие изделия «шерсть-бостон-коверкот-дерюга, стоит двадцать копеек сажень». В отдельном ряду продавали скотину и птицу: коров, овец, кур, гусей, индеек, уток.

Мы ходили, петляя в этой людской толчее, стараясь не потерять друг дружку из виду. Пили морс, покупали гребёнку, карандаш, у бойкого фотографа снимались на память, глазели на всё, что происходило вокруг. Здесь в мешках бегают, там с ложкой в зубах яйца перетаскивают, тут, сидя верхом на перекладине, друг друга мешками колотят – кто кого сшибёт. Везде интересно. Будет, что дома рассказать, удивить Маньку с Мишкой.

Захватывающим зрелищем, вокруг которого собирается плотным кольцом толпа зевак, является татарская национальная борьба – курэш. Начинается она с самых маленьких борцов. Побеждённый покидает площадку, а на победителя в круг выходит следующий, постарше и покрупнее. На завершающем этапе в борьбу вступают самые здоровенные батыры.

Высший приз – баран – томится тут же, на виду у зрителей, привязанный к ограждению. Такого барана поискать! Килограммов пятьдесят будет! Старый, видать, рога в три витка спирали скручены! Не подозревая о своей участи, живой приз дремлет.

Наконец последний претендент на барана лежит на лопатках. А победитель победно поднял руки в знак приветствия болельщиков. Судья ведёт барана. Батыр берёт его за ноги, легко, как пустую овчину, забрасывает его себе на загривок, совершая круг почёта,

несёт его вместо лаврового венка под восторженные крики и вопли болельщиков.

Но больше всего мы переживали и радовались, когда наш рысак Конспект в бегах приходил первым. А первым он приходил ежегодно – в течение трёх или четырёх лет подряд.

С сабантуя мы возвращались до предела насыщенные зрелищами, гордые за своего жеребца, уставшие, изнурённые зноем, беготнёй, ослабевшие от неумеренного потребления морса.

После одной из таких поездок, помню, уснул я на сеновале и не шевелясь проспал сутки. Протёр глаза, спрашиваю:

- Чё это счас? Утро или вечер?

- Вечер, вечер. Спать пора. – И я перевернулся на другой бок.

Зато память, как понимаете, осталась на всю жизнь.

Что и говорить. Самый живой и грандиозный праздник на свете – это Сабантуй!

КЛУБ

Клуб, изба-читальня – деревенские культурные заведения – нищенствовали, но существовали не зря. «На картину», на спектакль, концерт – народ в клуб валом валит. Как на праздник. В другие дни клуб занимала по вечерам молодёжь. Танцы, игры. Начиная с седьмого класса, мы чувствовали себя вполне самостоятельными людьми и клубную дверь открывали на правах постоянных посетителей. Я уже говорил, как нас приобщали к художественной самодеятельности. Но значение клуба в формировании интересов и вкусов молодёжи на этом не замыкалось. Клуб всегда был местом встреч, свиданий и общения молодёжи независимо от содержания его работы.

Но вот в начале пятидесятых, после службы в армии, в деревню вернулся и начал работать заведующим клубом Растатурин Николай Фёдорович. С его приходом уровень клубной работы вырос на глазах.

Впервые егорьевцы увидели бильярдный стол, пронумерованные пластмассовые шары. Перед клубом на лужайке появилась волейбольная площадка. На полке книжного шкафа в избе-читальне, был установлен солидных размеров, с комплектом электрических батарей, громкоговорящий радиоприёмник. В клубе появилась новая гармонь. Библиотека пополнилась литературой советских и зарубежных писателей.

Всё это было для нас в новинку. Досуг стал куда как более интересным и содержательным. Увлечённо, часами, играли в бильярд, в волейбол, слушали песни исполнителей Л.Утёсова, К.Шульженко, Р.Бейбутова, Г.Отса, С.Лемешева. Из рук в руки ходили книги М.Шолохова, М.Стельмаха, А.Бубенного, Стендаля, Гюго, Мопассана и других, в те годы очень популярных писателей.

Николай Фёдорович в молодости был человеком живого ума, энергичным, весёлым и остроумным затейником. В сочетании с армейской самодисциплиной, подтянутостью, умением собрать вокруг себя ребятешек, он, как нельзя кстати, подходил к должности культработника. Для меня лично он был идеалом человека, с которого надо брать пример. Мне очень импонировал образ его мысли, критический взгляд на действительность, принципиальность и исключительная скромность в материальном обеспечении, отсутствие какой-либо меркантильности и корысти.

ШУРКА УХОВ

Когда активно познаёшь и осмысливаешь окружающий мир, позарез нужен человек, которому можно доверить свои мысли и чувства. С кем-то же надо их сверить.

Таким человеком в юности был для меня Шурка Ухов. Ухач, как его звали на улице, слыл дерзким и отчаянным. Но когда я сблизился с ним и разглядел его вплотную, понял: молва возводит на него напраслину.

Шурка наказывал: «Не ищи себе друга другого. Я - друг верный твой». В этих словах, которые он написал мне на армейской фотографии - весь Шурка. Его определённая, романтизм и преданность. Когда Шурка горячился, утверждая свою позицию по тому или другому поводу, речь его становилась несколько высокопарной, приправленной обилием крылатых выражений и поэтических фраз. От этого Шурка не терял своей привлекательности. Словом, Шурка был парень самостоятельный, смелый, решительный в суждениях, любил острые шутки, понимал толк в юморе, сам любил посмеяться и заражал смехом окружающих и, как бы в оправдание своей весёлости, повторял: «Смеяться, право, не грешно, когда поистине смешно».

Сошлись мы с ним как-то незаметно, исподволь, когда я учился в шестом-седьмом классе. Чем больше общались и смеялись, тем больше привязывались друг к другу.

Ростом и физическим развитием мы с ним были примерно одинаковые. Когда схватывались бороться, чаще победителем выходил я, зато удар кулаком у него был сильнее моего. Как-то в Шугане, мы с ним ночевали вместе, а когда утром вышли во двор, он встал спиной к куче соломы и приказал:

- Бей!

- Чего бей?

- В грудь меня бей!

- За что?

- Просто так. Бей! Потом я тебя. Один боксёрский удар. Понял?

- Понял.

Надел я варежку, покрутил как положено кулаками, примерился и изо всей силы стукнул в выпяченную шуркину грудь. Шурка покачнулся, но устоял.

- Вставай! – скомандовал мне.

Я встал на его место и тоже напряг грудь для удара. Шурка кулаками не сучит, а как-то неожиданно коротким ударом сунул мне свой костлявый кулак под дых. Я хыкнул и бездыханный вверх ногами полетел в солому. Когда я перевёл дух, ничего не сказал Шурке. Только про себя отметил мощь удара. И понял: он мне дал знать, как его класть на лопатки.

Разные приключения мы с ним находили. Они всегда находятся, когда их ищешь.

Тёплым августовским вечером 1953 года, в разгар танцев, по егорьевскому клубу пролетела заманчивая весть: Колька собирается сейчас на бензовозе в Удобновку. Машина около клуба стоит.

- Поедем? – спрашивает Шурка.

- Поехали.

Облепили цистерну бензовоза, уцепились за поручни, которыми опоясана бочка, покатали.

В удобновском клубе егорьевским парням всегда были рады. Пляшут под гармошку, частушки поют, танцуют. У Шурки там родные: симпатичные здоровенные девахи - Шура и Вера. Немного погодя, девки Шурку за рукав начали тянуть, к себе в гости звать. Уж такие они весёлые, приветливые, гостеприимные! Отказать им было бы чудовищной невоспитанностью. Не очень-то Шурка и упирался.

Пошли, так пошли. Айда, Петька, к моим сходим, тётку навестим. А то потом скажут, был и не зашёл. Обидятся.

Пришли. Как долгожданных дорогих гостей встречают. За стол сажают. Арбуз полосатый на столе. По стаканам брагу разливают. Сами пьют, нас заставляют. Один стакан. Второй. Третий. Что это? Стены и окна закачались и поплыли. Румяные лица теряют чёткие очертания, расплываются, дwoятся. Сколько народу за столом! Пальцы играть не слушаются, все в пляс пустились. Громкий говор, музыка, топот во единый звук слились. Весело-то как!..

Заплетаясь языком и ногами, мы с Шуркой снова пересекаем овраг, бредём к потухшим окнам клуба.

Здесь нет никакой машины.

Да всё, что тут только что было, клуб тоже, куда-то исчезает, проваливается в чёрную ночную бездну...

Проснулся от холода. Светало. По телу одна за другой пробегают волны озноба. зуб на зуб не приходится. Хмель выходит. Долго таращусь глазами перед собой и вокруг, ничего понять не могу. Где это я? Вокруг зерно и подо мной зерно. Ржаное. Рядом, тоже в зерне с растянутыми мехами подружка-гармонь валяется. На расстоянии вытянутой руки стена кирпичная с отверстием. Дальше больше начинаю соображать, что нахожусь в большом деревянном ящике. Да это ларь, наполовину заполненный зерном. Вдруг из отверстия в кирпичной стене хлынул на меня поток горячей ржи и скоро я оказался полностью засыпанным, только голова торчит. В тёплом зерне я быстро согрелся и окончательно пришёл в себя.

Сушилка! Это же сушилка! Когда и как я попал сюда? Какой чёрт меня занёс? Ничего не помню. Вот так брага!

Шурки рядом нет. Где же Шурка? Вместе были, вместе пили, шли вроде вместе, а куда он потом девался? Ничего неизвестно.

Встал. Отряхнулся от зерна, гармонь подмышку и поплёлся с сторону деревни. Откуда ни возмись Шурка Ухов навстречу! Закоченевший, губы синие, колотун его бьёт, бражный хмель из него выбивает.

- Где ты потерялся? – кричит.

- А ты куда пропал?

- Эх, знал бы ты, где я сегодня ночевал! Не поверишь!

- То-то я проснулся в ящике сушилki, смотрю, а тебя нет. Говори где?

- Я и сам не сразу понял, где нахожусь. Просыпаюсь, открываю глаз, вижу - крест дубовый надо мной стоит. Второй глаз открыл –

ещё крест. Сначала думал, померещилось. Протёр глаза, кругом одни кресты. Мама моя родная! Это же кладбище! А сплю я ни больше, ни меньше, как на чьей-то могиле! Вскочил, как ошпаренный, и без оглядки! Понял, куда меня черти занесли?

- Ну и угораздило же тебя!

- Как это я туда...? – чешет Шурка затылок.

- Ясно дело, что дело тёмно.

Страшно пришибленные фантастическим финалом пирушки, смеясь над собой и раскаиваясь, мы, как побитые псы, понесли больные головы в родную Егорьевку. Ни безветренный солнечный день, ни первая осенняя позолота в удобновском лесу нас не радовали. Как положено по природе вещей, мы за вчерашнее веселье расплачивались тошнотой и скверным расположением духа.

Шурке нравилось быть первым всегда и во всём, хотя не всегда удавалось. Независимость своих суждений и поступков он, грешным делом, любил подчёркивать. Эта черта его характера вызывала уважение и привлекательность. Если более покладистому Серёжке Верину я мог без особых усилий навязать план своих действий, программу совместных походов и игр, то с Шуркой было сложно. Он не терпел над собой чужой воли. Упрямылся, закусывал, что называется, удила, выставлял контраргументы. И всё-таки путём взаимных уступок, мы всегда приходили к согласию. Дружба наша от этого не страдала. Часто мы вместе ночевали, чтобы и ночью быть вместе. То у нас, то у них на сеновале. Вместе работали на лошадях, вместе ездили грузчиками на челнинский элеватор.

Шурка любил песни петь. Часто горланили вместе. А любил он песни раздольные, народные, удалые. «Степь, да степь кругом...», «Далеко, далеко, где кочуют туманы, где от лёгкого ветра колышется рожь...», «Ревела буря, гром гремел...», «Бродяга Байкал переехал...», «Хазбулат удалой, бедна сакля твоя...», «Живёт моя отрада в высоком терему...». Я умышленно не перечисляю названия песен. Строчки из них лучше позволяют передать образ песен и понять шуркины вкусы.

Ехали мы с ним однажды в санях, на лошадях из Шугана и всю дорогу пели. Среди белых бескрайних просторов, под величавым закатом солнца, песни наши, казалось, разносились далеко-далеко. От душевной близости, от беспечной молодости казалось тогда, что мы с Шуркой будем жить вместе вечно под одним голубым небом, дружба наша будет длиться бесконечно и счастливо.

Но вскоре, в 1954 году, ушёл Шурка в армию служить. Судьба забросила его, как он пел, далеко-далеко, где кочуют туманы, на Дальний Восток, в Советскую Гавань. С берегов Тихого океана прислал он мне несколько писем, фотографий. Но вечного в этом мире ничего нет. С годами переписка наша постепенно поредела и, наконец, выдохлась совсем. Устала под толщей времени. В Егорьевку Шурка после службы не вернулся.

Не виделись мы с Шуркой около тридцати лет. В 1986 году получаем телеграмму: «Буду 2/8 теплоход Ф. Достоевский. Турист Ухов Шурка». Пока трёхпалубный красавец теплоход медленно разворачивался к причалу за триста метров от берега, я разглядел и узнал Шурку среди прочих пассажиров. Чёрные густые брови, курносый нос, на круглом лице чуть выдающиеся скулы, краешек верхней губы несколько припухший – след лошадиного копыта. Обнялись. Худощавый. Подтянутый. Такой, как и был тридцать лет назад, если не считать сеточки мелких морщин в уголках глаз, да иная первая седина на висках.

Посидели мы с ним часа полтора на даче. Выпили. Второпях поговорили и вернулись на теплоход. На осмотр города туристам было отпущено всего два часа.

Так мы встретились с Почётным железнодорожником, тогда ещё СССР, Уховым Александром Ивановичем. А тот – егорьевский Шурка – исчез. Нет того Шурки. Как нет и Егорьевки.

До старости лет дожил, а не хочется расставаться с чувством юношеской дружбы. Как аккумулятор духовной пищи бережно храню его в своей сердечной записке. Достаяю, когда бывает невмочь, прикасаюсь к нему, заряжаюсь молодостью. А время не стоит на месте. Оно уносит нас всё дальше и дальше от егорьевских лет.

БРАТЯ БЫЧКОВЫ

Тётя Даша Бычкова – младшая сестра матери, с сыновьями Александром и Валентином, с дочкой Майей, в те годы жила в Михайловке, работала заведующей совхозной хлебопекарней. Муж её, Бычков Пётр, до войны был известным активистом-общественником и пользовался, как рассказывали, большим авторитетом не только в совхозе. Его знал весь район. В 1942 году он смертью храбрых погиб в бою под Сталинградом.

Хотя и была тётя Даша оптимистом по натуре, и физически очень сильной женщиной, поднять на ноги одной троих детей было очень трудно. Братья, как впрочем, все подростки того времени, были вынуждены бросить учёбу и наравне со взрослыми впрячься в колхозную работу. С ранних лет приобщились к технике, а со временем оба они стали настоящими механизаторами: Александр – комбайнёром, Валентин – шофёром.

Во время летних каникул я не раз гостил у тёти Даши по нескольку дней. Познакомился там с соседским мальчишкой Генкой Чугуновым, бегал с ним рыбачить на речку Мельню. Шли вдоль берега. Он забрасывал удочку с наживкой – хлебным шариком, рыба клевала моментально. Я не успевал снимать с крючка то пескарей, то плотвичку, величиной, ну разве что, чуть побольше взрослого челнинского таракана и нанизывал их на нитку-кукан. Тётя Даша жарила нам эту рыбу, заливая яйцами. Сиделись вокруг огромной сковороды, неторопливо со вкусом обглаживали и обсасывали рыбные скелетики. Генка сытно облизывался и так нахваливал «жарёху», как будто на свете вкуснее этой рыбы ничего и не было. (Погиб Генка несколько лет спустя за штурвалом комбайна, переезжая овраг с полным бункером зерна. На спуске под тяжестью бункера комбайн перевернулся вперёд и раздавил Генку насмерть.)

Брат Саша брал меня в поездку за сеном. Ездили в сторону Чия-Тубы за несколько километров от Михайловки. Поля там были засеяны многолетними травами и среди созревших хлебов выделялись яркой ковровой зеленью отавы.

- Вот здесь у нас растёт костер, а там вон – тимофеевка, - по хозяйски показывал он мне совхозные владения. Когда нагрузили и увязали воз свежего душистого сена, уселись поудобнее, он вытащил пачку папирос, закурил, спросил меня:

- Куришь?

Я вспыхнул краской смущения и некоторое время мялся, не зная, что сказать. Всё-таки брат на десять лет старше меня. Сознайся, а ну начнёт мораль читать, да ещё отцу потом расскажет. Но глаза его смотрели по-доброму, спокойно, и я почувствовал, что с ним можно держаться доверительно. Ответил, как на духу:

- Курю. Только отец об этом не знает, а матери я не стесняюсь. Она мне сама разрешает, чтобы я не прятался с огнём и не наделал пожара.

- Закуривай, - просто сказал он, щёлкнул пальцем по торцу пачки «Бокса» и протянул мне. Тем самым он как бы признал меня

самостоятельным и вполне взрослым человеком, за что я тотчас проникся к нему огромной благодарностью.

Сидя на возу, заговорили об устройстве какого-то агрегата. Брат был словоохотливым собеседником и принялся подробно объяснять. Часто произносил незнакомые мне «мембрана», «штуцер», «коллектор» и другие мудрёные слова. Как здорово он разбирается в технике! – удивлялся я, слушая его, гордился им и завидовал.

После работы мы брали мыло, полотенце и шли на речку мыться-купаться. При раздевании я всякий раз невольно отмечал про себя, как ладно и крепко скроена фигура брата. Он отличался поистине красивым телосложением атлета. С удовольствием окунался в воду с головой, шумно плескался, блаженно кряхтел, намыливая голову, и хвалил воду:

- Такой мягкой воды, как в нашей Мельне редко в какой речке найдёшь. Волосы после мытья, как шёлковые.

Опять незнакомое мне понятие «мягкая вода». Как это она мягкая? – думаю и не могу того понять. С десятикратно возросшим любопытством погружаюсь в эту загадочную мягкую воду Мельни. Вода, как вода.

Вечером Саша брал в руки баян, пикиал, старательно при этом крутил головой, склоняя к инструменту то одно, то другое ухо. На мощной шее у него вздувалась и пульсировала жила. Губы при этом тоже играли, выпячивались, расплывались, на самых трудных переборах искажались в каком-то кривом напряжённом оскале. Не зря старался. С каждым разом всё лучше и лучше, всё чище вырисовывалась мелодия, популярной в те годы «Летят перелётные птицы». Только мученическая поза при игре никак не вязалась с его крепкой атлетической статью. Она портила его и раздражала меня. Так и хотелось подсказать, чтобы он не подыгрывал губами и сидел прямо. Но я стеснялся его и боялся обидеть, а потому продолжал страдать вместе с ним: он – за свою игру, я – за его муку.

Я был консервативным с детства и болезненно переживал, когда нарушалось или истреблялось что-либо устойчиво сложившееся, тем более в области прекрасного. В данном случае разрушался образ брата, созданный моим взглядом, воображением и желанием. И не только моим.

Мне представляется, что когда Вучетич лепил свою знаменитую скульптуру «Перекуём мечи на орала», он, конечно же, прообразом взял брата Бычкова Александра Петровича. Получился он у него вылитый! Будете в Америке, подойдите к парадному подъезду ООН и

вы увидите скульптурный портрет моего брата. Дело не только в сходстве чисто внешнем. Брат знал, что такое орало не понаслышке. Полжизни он держал его в своих мозолистых руках хлебороба. Перейдя к нефтяникам, он многие годы обрабатывал металл. Так что без поэтической натяжки – это он. По форме, по делу, по духу.

Прошли годы после тех летних купаний и самостоятельных уроков игры на баяне. Когда он уже был женат и на полу отстукивала свои первые неуверенные шаги дочка Женечка, я его при встрече спросил:

- Как баян? Играешь ли?

- Эх, Петя, какой баян? Вот теперь мой баян. – И он показал на ребёнка. Семейные заботы отодвинули холостяцкие увлечения на задний план.

Крупнее, внешне мало похожим на старшего брата и не так классически сложенным, был Валентин. Характером Валентин был как бы просторнее, смелее и веселее. Будучи подростком, Валентин шоферил на полуторке, а потом на ЗИЛ-105, колесил по району и по пути частенько заглядывал к нам в Егорьевку. Как вольный ветер врывался, приносил в избу избыток своей жизнерадостности, смех, шутки, необычный для нас запах бензина, мазута и резины. Шумно отфыркиваясь, умывался, садился за стол, аппетитно ел всё, что подавали, при этом рассказывал что-то весёлое. Он любил пошутить, посмеяться, рассказать анекдот или случай из жизни. Смешных эпизодов в миниатюре он знал великое множество. Сам примечал и от людей слышал. Память у него была великолепная. Рассказывал легко, весело, красочно.

- Петька Татаров, - говорит Валентин, - мне сегодня рассказывал, как к нашему директору на приём заходят. Вот пришёл, говорит, к нему один механизатор, который в середине деревни живёт... Ну этот...

- Который? – спрашиваю.

- Ну эта... как его? Тьфу, забыл звать...

- Кто же там? – стали гадать, - в середине деревни-то? Не Сухачёв?

- Да не-ет. Сухачёвы совсем на другой стороне живут. А это... Татарин эта... как их? Ну супрыть – напупрыть Кругловых который.

- Дык хто жа там? Там вроде пазьмо пустое...

- Ну этот, татарин который... Баязит что-ли? Во! Точно! Баязит! Здоровенный такой! Да знаешь ты его. В эмтээсе ещё работал. Так вот. Заходит он восейко к директору совхоза в кабинет. Я у него как

раз сидел. Директора-то нам недавно нового дали. Тоже татарин. Постучал он в дверь, приоткрыл маненько, просунул голову и, чтобы перед новым хозяином показать свою воспитанность, вежливо спрашивает:

- Мужна-ма?

Директор, не поднимая головы от бумаги, властно и решительно отвечает:

- Ни мужа!

Голова в дверях исчезла, дверь захлопнулась, «визит вежливости» завершился.

- Ни мужа, - повторяет и хохочет Валентин. С ним смеются все.

После этого, когда Валентин заезжает к нам, то прежде чем зайти в избу, просунет голову в дверь и бодрым голосом спрашивает: «Мужна-ма?» Все радуются и смеются. Отец потом после встречи с ним долго улыбается и довольно заключает:

- Ну смехорылый Валентин, ну смехорылый.

А мать добавляет:

- И солошший, как наша Лизка.

Пришла пора и ушёл Валентин на службу. Получила тётя Даша от него первую весточку, пришла к сестре радостью поделиться. Они частенько навещали друг дружку. Двенадцать километров, разделявшие деревни, их не смущали. «Во флот попал служить, - рассказывает тётя Даша. – На Дальний Восток. Четыре года там служить будет. Пишет, как они до Тихого океана в телячьих вагонах больше десяти дней ехали, на станциях в крючки играли. Это, кто у кого найдёт в одежде дырку, должен за неё пальцем зацепить и дёрнуть. А что там искать дырку эту? Как поехали-то, в рваньё нарядились, чтобы потом выбрасывать не жалко было. А тут ещё всю дорогу в крючки играли. Приехали к месту службы-то в одних лоскутах да ленточках. Мать родная не узнает. А так ничё... Ну, соскучился, пишет. - Передавай, говорит, - мама, привет всем встречным и поперечным. Рассказывает тётя Даша, а сама хохочет. Так хохочет, что и разгадывать не надо, откуда Валентин такой смехорылый. Ни дать не взять - в матушку.

Ребятишки любили читать книжки про войну. Сцены мужества, героизма. Разведчик Кузнецов, партизан Ковпак, бесстрашные атаки морской пехоты. Всё это дух захватывает! Моряки особенно. Душа у моряков широкая, как океан, всему миру нарастопашку. Чёрные дьяволы! Кажется, так окрестили их немцы, охватываемые суеверным страхом в минуты лобовых атак. Моряков ребятишки обожали,

форму морскую беззаветно любил каждый школяр. Бушлаты, бескозырки, тельняшки. В них щеголяли, выставя напоказ синие-белые полосы из-под глубоко расстёгнутых рубашек. Глядя на них, неимущие изводились завистью. Чтобы своим содержанием гармонировать с формой, Мишка Котов, Колька Макука, Серёжка Верин – владельцы тельняшек – на людях, особенно при девчонках, старались поддерживать грудь в колесообразном состоянии. Что греха таить, тельняшка и мне мерещилась.

Но бог миловал. Однажды, порог нашей избы переступил настоящий и не просто моряк, а старшина первой статьи. Командир матросский. Чёрный бушлат, расклешённые морские брюки. На улыбчивой толстощёкой голове моряка набок заломленная бескозырка. На ленте - якоря и надпись «Тихоокеанский флот». Прибыл со службы Валентин. Все бросились здороваться, обниматься. Радостное оживление. Он, как принято, облобызал каждого, малых по голове потрепал, затем начал раздавать подарки. Матери – платок, крёстному отцу – флотскую фотографию с дарственной надписью, ребятишкам поменьше – сувениры с изображением якоря, а мне...

- А это вот тебе, - он протянул, а я бережно принял свёрток, не зная, что в нём и сгорал от любопытства, пока не развернул. А развернул – сердце взвилось под потолок. Тельняшка! Настоящая!

Тут же надел тельняшку на себя, повертелся перед зеркалом. Парень хоть куда! Под тельняшкой грудь сама собой петушится, силой наливается, мышцы играть просятся. Побежал к Серёжке Верину. Показать надо, похвалиться. Тот свою надел и начали мы с ним тут же в сенцах матросский танец разучивать. И так потом наловчились его выстукивать, что через полгода дошли с ним до районного смотра художественной самодеятельности. Что значит тельняшка!

Осенью того года мы вместе с Валентином сидели за свадебным столом у брата Николая Ежова. Сначала пили водку, потом перешли на брагу. Пир, что называется, шёл горой. Выпивая, Валентин любил хорошенько закусить.

- Кому щей налить, дорогие гости? – спрашивала тётя Дуня.

- Давай сюда! – скомандовал Валентин. Выхлебал, деревянную ложку шутливо облизал и стал осматривать стол. Что бы такое ещё съесть? Стол был завален всякой всячиной. Плошки, блюда, тарелки с булками, кренделями, пышками. Среди выпечки в разных местах

стола стояли нетронутые неглубокие миски с разморенной пшённой кашей, щедро заправленной маслом.

- И што вы кашу не ядите, гости дорогие? Устынет каша-то, устынет.

- Кашу, говоришь? Ага! Давай её сюда. – Валентин подвинул к себе миску и начал за обе щёки уплетать. Жестом приглашая следовать его примеру, приговаривал:

- Закусывай, Петро, закусывай по-матросски.

Съели мы с ним одну плошку без передышки. Валентин снова огляделся:

- Устынет, говоришь? Это по-матросски! Давай её сюда! – С другого конца стола он подвинул к себе вторую миску с кашей.

- Закусывай, Петро, по-матросски! Не сиди, сложа руки.

Свадьба гудела, пила брагу, пела, плясала, кричала «горько», молодые целовались, а мы с Валентином работали деревянными ложками над пшённой кашей, уничтожая по-матросски одну миску за другой. Было страшно весело, празднично, до икоты сытно. Насытившись, Валентин подозвал к столу тётю Дуню, спросил:

- А это што? – И вдруг, с суровым выражением на лице, концом ложки начал сердито тыкать в коричневое просяное неободранное зёрнышко, вкраплённое в разваристую кашу.

- А и што ить там? – забеспокоилась тётя Дуня.

- Как и што? Таракан. Только не разберу, какой породы. Прусак или нашенский русско-татарский.

- Да ну тебя! Няушты правда? – побледнела хозяйка.

- А то, чай, вру? И есть не буду. Пусть молодые подсластят! – И громко закричал: «Горько! Горько!»

Стол требование поддержал, хозяйка, поняв шутку, порозовела, молодые с удовольствием подсластили, и мы снова принялись за кашу. Так и отпраздновали свадьбу Николая Емельяновича. На другой год сам Валентин женился. Его свадьбу в Шугане играли.

Мы встречались больше по праздникам, да за столом. В работе я его, к сожалению, мало видел, в разных местах жили. Но знаю точно, был он деятельный, беспокойный, рано вставал, много ездил в поисках запасных частей, когда работал заведующим гаражом в совхозе. Позднее он руководил большим подразделением в хозяйстве татарских нефтяников. Природой в нём были заложены задатки крупного организатора, которые он, к сожалению, не успел раскрыть в полной мере. Жизнь оказалась непродолжительной.

Я часто вспоминаю его как весёлого, доброго человека. Именно эта черта его характера почему-то оставила самый глубокий след в моей памяти. Чтобы на весёлой ноте закончить рассказ о Валентине, я вспоминаю ещё одну побасенку из его фольклора.

- Каких только людей не встретишь на дорогах, - рассказывал Валентин. – Еду вчера из Тумутука домой через Ивановку. По пути до Шугана мужика с бабой подобрал. У бабы в руках корзина тряпкой сверху завязана. Сам мужик ко мне в кабину сел, бабе с корзиной в кузов скомандовал. Едем, мужик рассказывает:

- Вот, в гости едем. К родным. В Шуган едем. Петуха везём. У них там нет, а у нас два петуха-то. Дак хоть бы и один был. Жалко что ли? Петушишко-то так себе. Хрен с ним, с петухом! Родные всёж-таки. Увидят петуха, смотришь - и бутылку на стол Зинка выставит. Выпьем со свояком, а то башка, бя, со вчерашнего трещит. Так-то с неё хрен чево выдавишь. Прошлогодного снегу зараза не даст. Ох, скупая баба-то у свояка! Моя-то не-е-ет! Моя последнее отдаст. Простодырая моя-то. Сама вон и петуха пумала. Давай, грит, Вася, петуха Зинке увезём. Давай, грю, жалко что-ли? Вот... везём...

Вдруг по крыше кабины баба тревожно забарабанила. Стоп-сигнал значит. Остановил машину.

- Ты чё там? Нечто резьбу сорвало? В полынь захотела? Чё, грю, стукашь-то? – высунулся из кабины Вася?

- Где петух-то? Петуха-то нету, - жалобно сообщает баба.

- Как нету? – заморгал мужик. – Вон мать-ть её за ногу? Петух пропал! – с ужасом в глазах посмотрел он на меня и, как ужаленный, выскочил из кабины.

- Гляжу, больно тихо корзинка стоит. Заглянула под тряпку, а его там нету, - слышно, как объясняет баба.

- Чё жы он? Тряпку развязал?

- Тряпка на месте бытто, завязана тряпка-то.

- Дык, может, ты ево, бя, не угнездила в корзинку-то? Может ты ево и не пумала? – пытал мужик.

- Как же этъ, Вася, не пумала, когда сама, Вася, за ним по курятнику мяталась – чуть не плачет баба.

- Мяталась, мяталась, мать-ть за ногу. Вылезай давай, приехали! Мяталась! Чё там без петуха у Зинки делать?

И, чтобы самому убедиться в пропаже петуха, потребовал:

- Дай-ка корзинку-то! – взял, сорвал с неё тряпку, швырнул от себя подальше, впери́л взгляд в пустую посудину и окончательно вышел из себя:

- Слазь, говорю! – взвизгнул, яростно изматерился и веско добавил. – Корова комолая! Петуха! Такого петуха упустила! Корова комолая!

Спустилась баба с кузова на землю, сцепились тут они. Я не стал конца ждать, дальше поехал. Пока в зеркало видно было, они там на обочине стояли, горячо размахивая руками, продолжали выяснять, куда петух девался. На дороге валялась пустая корзина.

Рассказывая, Валентин и сам от души хохотал, сквозь смех повторял:

- Главно, не простая корова. Ко-мо-ла-я!

- А правда, куда же это петух у них девался? – спрашиваю.

Смеясь, Валентин отвечает своей любимой поговоркой:

- Что касательно относительно, то не безусловно, но не доведись кому такое дело – вот тебе и пожалуйста!

УЧИТЕЛЯ

В памяти моей навсегда забронирован уголок, где живёт образ невысокой круглолицей скуластой женщины, с уютно накинутым на плечи серым пуховым платком, образ моей первой учительницы Натальи Фёдоровны Крыловой.

Внимательная, по-матерински заботливая, с огромной выдержкой и терпением кропотливо работала она с каждым егорьевским отпрыском. Талант воспитательницы, коим она богато была наделена от природы, помогал ей даже бестолкового сделать светлым и грамотным.

Много лет в Егорьевской школе проработал и Павел Михайлович – муж Натальи Фёдоровны. У него свои методы воспитания были, которые частью в армии подсмотрел, частью с егорьевской улицы в школу принёс. Где прикрикнет, где пристукнет, где слово непотребное, прости господи, перегаром окутанное выпустит. Не на своём, похоже, месте находился.

Был у него свой интерес к жизни, но он выходил далеко за рамки учительства. Выбило его из колеи спиртное. Подорвал своё здоровье, под забором валяясь. Не найдя себя ни в работе, ни в семье, умер.

В шуганской школе конца сороковых – первой половины пятидесятых работал сильный и яркий состав учителей.

В Шугане и окрестных деревнях каждая изба знала легендарных учителей Колокольцевых. Наша не была исключением. Я слышал о них с пелёнок. Все четыре сестры мои некоторое время, кто больше, кто меньше, ходили в шуганскую школу, обучались у них.

Мария Герасимовна Колокольцева, без сомнения, была самой заслуженной, самой авторитетной и выдающейся учительницей шуганской школы. Кавалер Ордена Ленина. Невысокая ростом, обаятельная в своей строгости, старушка умела покорять учащихся сразу и навсегда. Видели бы вы, как она владела классом! Дети с первых же минут урока погружались в мир её разума, в сферу её воли и эмоций. Речь её была звучной, красивой, завораживающей, со своеобразным мягким произношением звука «эль», искрилась удивительным множеством пословиц и поговорок. Но значение имели не внешние эффекты её уроков и речи. Нет. Единственная из многих она, кроме русского языка и литературы, учила ребятшек жить, касаясь таких сторон взаимоотношений между людьми, о которых никто из других учителей говорить почему-то не осмеливался.

Не менее знаменитым и значительным был второй патриарх шуганского учительства, муж Марии Герасимовны – Сан Саныч.

Сухопарый, высокий, сутулый, надменный старикан. Это был интеллигент барской закваски с длинным узким лицом, длинными железными пальцами и колючим едким взглядом.

В пятом преподавал географию. Скрипучим старческим голосом вдабливал в наши пустые буйные головы понятия о горизонте и компасе. Компас он произносил с ударением на «а». Как сейчас помню, начиная урок с повторения пройденного, он жёстко ставил страшный вопрос:

- Что такое горизонт? И что такое компас? Кто скажет?

За малейшую провинность бил по голове, не шутя, указкой, либо своим железным указательным пальцем совал ученику в бок. Незаметный со стороны тычок в ребро, был довольно болезненным, хорошо выражал ученику злость и неприязнь учителя.

- Ты кто? – словно партизана он меня, лапотного, однажды поставил для иллюстрации перед классом. – Конюх колхозный или ученик пятого класса? Чем ты соизволил подпоясаться, своебышный? В каком виде ты пришёл в класс?

Сан Саныч был вне себя от негодования. Виной всему была старая верёвка, которой я подпоясал фуфайку. Он ругал и стыдил меня, а я про себя отвечал ему вопросом на вопрос: «Ну чем бы ещё

подпоясаться, если в доме нет другой верёвки? Эту-то мать на подловке еле нашла. А без пояса в фуфайке сам бы по осенней стуже восемь километров прошёл!»

В знак солидарности со мной Мишка Тарасов потом разоблачительно шептал по секрету на ухо:

- В царской армии служил он. Белогвардейский офицер! Вот он кто.

Служил Сан Саныч или не служил в белой армии – не знаю, но боялись его, как огня. Это точно.

В зените учительской славы находилась чета Санниковых: Александра Иосиповна и Николай Ефремович. В разговорах они упоминались почти всегда вместе, но отличались друг от друга, как небо от земли.

Александра Иосиповна - учительница классического типа. Интеллекта и педагогического мастерства ей не занимать. Именно на таких, пришедших в школу по призванию, держится народное образование.

Другое дело - Николай Ефремович. Ещё довоенное поколение школьников заметило, что Николай Ефремович обожает сладкое и на уроках частенько запускал руку в круглую жестяную коробочку за очередным леденцом. Эта его слабость дала ему прозвище «ландрин». Вторая слабость – вспыльчивый характер, которую, как водится, ученики быстро распознают и нещадно эксплуатируют.

Коренастый, с коротко стриженной крупной головой, красным вялым носом, он слово за словом картавым языком монотонно читал нам, лежащий перед ним, учебник истории про «фараонов», «карфаген», «египетские пирамиды». Иногда поворачивался к классу спиной, чтобы показать на карте, где находится Рим, где Карфаген или Афины.

Чтобы стряхнуть с себя навеваемое им дремотное оцепенение, так и подмывало совершить какую-нибудь очередную пакость. Кто-нибудь из резинки, закреплённой на пальцах в виде рогатки, стрелял в крутой затылок учителя скрученной бумажкой. Он выходил из себя. Вскакивал, начинал бегать вдоль учительского стола, размахивать руками, извергать громы и молнии. Задыхаясь и багровея от гнева, выкрикивал:

- Вы... вы... как вы смеее?! Я вас грудью защищал! Я до Берлина дошёл, когда вы..., вы ещё под стол пешком ходили! У вас ещё и сейчас молоко на губах не обсохло! На меня тысячи бомб падали! Я чудом жив остался, а вы...!

Класс в такие минуты затихал. Над обезглавленной сельской церковью галки галдят, об оконное стекло муха бьётся – в классе слышно. Лёгкое, как пробка, детское воображение, не способное ещё к серьёзному абстрактному мышлению, рисовало иллюстрации к сказанному учителем. В небе представлялась стая фашистских бомбардировщиков, с каждого чёрного креста-самолёта одна за другой капают бомбы и в виде дождя обрушиваются на голову Николая Ефремовича. Он стоит на учительском столе под бомбовым дождём, руками отмахивается – и хоть бы что ему. Он герой! А мы тем временем всем классом, совсем маленькие, будто муравьи с каплями жирного молока на губах, гуськом маршируем под столешницей и нам тоже хоть бы что. Это хоть бы что нам потому, что мы под надёжной защитой Николая Ефремовича. Как цыплята под крылом курицы.

Когда выстрел из рогатки заставлял учителя отрываться от учебника, начинала звучать искренняя нестандартная речь. Такая речь давала нам больше, чем вся книга про древнюю Грецию. Это и были настоящие, то, что надо, запоминающиеся уроки ветерана войны, живого участника и творца истории. Следует отметить что Гвардии старший сержант Санников Николай Ефремович за боевые подвиги был награжден двумя орденами Красной Звезды и медалью За Отвагу!

Пётр Афанасьевич Устеряков. Сухощавое лицо, светлые реденькие волосы на лысеющем черепе, круглые оттопыренные уши, маленький, тонкогубый, свёрнутый в трубку для слова «пупок» рот, острый угол подбородка, острый нос, впалые щёки, небольшие, сдвинутые к носу глаза. Ходил вразвалку, говорил с расстановкой. Обладал тонким вкусом к иронии и юмору.

В пятидесятых годах, при более внимательном взгляде, под рубахой Петра Афанасьевича, можно было угадать хорошо развитые руки гимнаста.

И только тот, кто общался с ним близко, знал, что за невзрачной внешностью скрыта огромная культура и редкой красоты широкая душа незаурядной личности.

Пётр Афанасьевич был Учитель с большой буквы. Немецкий, как свой родной язык, не просто знал во всех его диалектах, но владел высочайшим мастерством его преподавания.

Не сказать, чтобы он был скупой на отметки. Пятёрку у него можно было «заработать» всего лишь на одном каком-нибудь мудрёном слове. Впрочем, так же легко было схватить и двойку, а то

и кол. Но удовлетворительная оценка, выведенная рукой Петра Афанасьевича, без преувеличения имела вес общепринятой пятёрки или, по крайней мере, четвёрки с плюсом.

Не скрывая своей любви к нему, считаю себя счастливым, что волей судьбы был в числе сотен его учеников.

Как зарождаются циклоны, откуда и зачем дуют ветры, как образуются горы и реки, низменности и острова – это из цепочки вопросов преподавателя географии Романа Ксенофонтовича Козырева.

Чудаковатый старичок, обогащённый многолетним повторением своих уроков, не спеша вещал нам на своём петровском наречии: «Ни лаить, ни пужаить, подбигить, укусить, убигить».

В выборе средств воспитания не очень мудрил:

- Ты меня слушать не хатишь, озарничаешь. Думаешь, с тобой антимонии разводить будут? – говорил он и непослушных бесцеремонно выставлял к доске на весь урок или совсем вон из класса.

Не обижались. Грешно было бы. Мягкостью и добродушием учителя сами часто злоупотребляли.

Тонкие красивые черты лица с широко расставленными глазами. При малейшем нарушении хода урока, лицо бледнело, ноздри и нижняя губа начинали дрожать. Это были всем понятные признаки надвигающейся грозы. В классе воцарялась тишина и порядок.

Значками БГТО и ГТО, словно бы правительственными орденами, награждал нас учитель физкультуры и военного дела Яков Иванович Соловьёв. Он научил нас ходить строем, стрелять из винтовки, надевать противогаз, преодолевать полосу препятствий, чем здорово облегчил ребятишкам службу в армии.

Брал руку мальчишки со слабо обозначенными бицепсами, наставлял:

- Когда сгибаешь руку, вот здесь, как яблочко, должен перекачиваться мускул. Где он у тебя? Нет его. А без него тебе ни силы, ни ловкости. Тренировка, брат, нужна, тренировка.

Искусно и старательно преподавала Евдокия Григорьевна Соловьёва – учительница по ботанике и зоологии. Насыщенные интересным содержанием уроки её захватывали даже самых нерадивых, не оставляя им места и времени для посторонних мыслей и дел.

Каждый урок обаятельной Евдокии Григорьевны, чем-то похожей на Марию Герасимовну, по теперешнему моему пониманию, непременно достигал поставленной учителем цели.

Мы были свидетелями и активными участниками педагогической карьеры целой плеяды молодых учительниц Шуганской школы.

Впервые в качестве учительницы пришла в наш девятый, растерялась и зарделась, как маков цвет, Вера Максимовна. Мы мучительно сопереживали, пускали крокодилову слезу по случаям неудачных, нами же сорванных уроков молодой учительницы Валентины Ивановны Абрамовой. Жалели её мягкосердечную, а в итоге получалось, что снова и снова выходили из повиновения и послушания, превращали урок в шумный базар.

Молодую учительницу Зою Александровну Сорокину приняли с благоговением. С уважением внимательно слушали её мелодичную литературную речь, засматривались на румяную свежесть её красивого лица с капризно выпяченной нижней пухлой губкой.

Свои первые учительские шаги делала Прасковья Петровна Кривошеева, впоследствии ставшая одним из ведущих учителей математики в районе, директором школы.

Валентину Сергеевну – учительницу математики и геометрии в старших классах, приняли сразу, как очень серьёзную и мудрую наставницу, несмотря на её молодой возраст. Многим она сразу пришлась по душе.

До глубины души жаль и горько сознавать, что она так рано ушла из жизни. Когда я видел её последний раз, она, замученная недугом и резко постаревшая, сказала:

- Я всё отдала школе.

Это правда.

Чтобы избежать неприятностей по случаю невыполненного домашнего задания, класс иногда навязывал свою, не очень близкую к физике тему для разговора, на уроках весёлой общительной молодой учительницы Зои Михайловны Топоровой.

- Какая у вас красивая сегодня кофточка, Зоя Михайловна, - вкрадчиво замечала Валя Деревенских.

- Ничего особенного, - как бы между прочим отвечала Зоя Михайловна. – Обыкновенный ситец.

- А костюм так уж не иначе, как из тонкого сукна, - продолжала забрасывать удочку Валя.

- Да что вы, девочки! – клевала Зоя Михайловна. На лице её вспыхивал румянец смущения, она хитро прищуривалась, изучающим взглядом всматривалась в лицо ученицы. Цель комплиментов – увести учительницу от темы урока – для неё не была тайной. Не такая уж она простушка, чтобы не видеть, что ученики заводят налима за камень. Но устоять перед соблазном обсуждения с девчонками такой темы, как мода и ткани, не хватало сил. Хотя и учительница физики, но женщина же!

- Да что вы, девочки? Это же шевиот.

- Шевиот! – Делая брови шалашиком, удивляется Деревенских.

- Шевиот?! – нарочно восторженно повторяют другие.

- Неужели шевиот??!! – подхватывают третьи. Более двадцати пар изумлённых глаз устремляют пытливый взор на платье учительницы.

- Да, это шевиот, - вступая в игру, с достоинством утверждает Зоя Михайловна. – Вы что, не отличаете обыкновенного сукна от шевиота? – в свою очередь удивляется она.

И начинается час оживлённых вопросов и ответов на тему тканей и моды. Урок пролетел приятно, весело и незаметно.

После звука желанного колокольчика класс облегчённо вздыхал: «Ух, пронесло!», а Зоя Михайловна, спохватившись, начинала диктовать новое домашнее задание. Не беда, что в перемену.

Всё катится вперёд неумолимо и быстро. Вот уж и ученицы десятого класса образца 1955 года выходят на пенсию, как на заслуженный отдых. Учителя тем более прошли свой путь, давно на отдыхе и нянчат внуков.

Многие в мир иной ушли. Нет среди нас Марии Герасимовны, Сан Саныча, Якова Ивановича, Романа Ксенофонтовича, Валентины Сергеевны. Осенью прошлого 1992 года умер Пётр Афанасьевич.

Судьба некоторых мне не известна.

Я не ставил перед собой непосильной задачи - создать художественно полноценные образы учителей шуганской школы пятидесятых годов. Мой беглый перечень имён своих наставников имеет целью просто вспомнить их добрым словом. Детям своим и внукам сказать, что жили такие люди на земле, которые отдали часть своей души нам, а значит и дальше по наследству нашим детям и внукам.

Низкий им поклон, дорогим нашим учителям за их щедрую жизнь. Память о них мы бережно храним и обязательно передадим потомкам.

И потому жить им вечно.

И РАСТВОРИЛСЯ КЛАСС В НАРОДЕ

Пришла весна 1955 года. Растаял снег. Зацвели медуницы, черёмуха, сирень. Десятый «Б» встречал и провожал свою последнюю весну. В старших классах шуганские, егорьевские, казанчинские, чекмакские и нагайбакские ребята и девчата изменились до неузнаваемости.

Вместо лохматых чумазных сорванцов, как то было в пятом-шестом классах, за партами в девятом и десятом сидели взрослые причёсанные рассудительные юноши и цветущие девушки.

Вот они по списку в классном журнале.

Серьёзный самостоятельный Раис Абдуллин; загадочная, как туманность Андромеды, Мадина Гараева; поэтесса с философской чудинойкой Валя Деревенских; середнячок с лентой - ваш покорный слуга; прилежная умница Маша Егорова; энергичная непоседа Шура Зайцева; маленькая застенчивая Аня Зайцева; добродушная толстушка Таня Киршина; угловатая скромница Зина Киршина; робкая сладкоежка Галя Коткова; степенный и мудрый, как дед, Гена Котков; смышлёный спорщик и песенник Миша Котков; серьёзный староста класса Гриша Костин; железный диктатор Лёня Костров; свобододолюбивый неслух Коля Краснов; трудолюбивое своебышное сокровище Нина Муринова; гениальный аналитик Миша сэр Олокин; радушная ударница Поля Суханова; хитрован в юбочке Шавалеева; рассудительная прима-ученица Маша Шильнова.

Учителя всё чаще, отступая от строгих планов урока, беседовали с нами на свободные лирические темы. Классная руководительница, всегда сосредоточенная на уроке и требовательная, стала вдруг весёлая и по-домашнему простецкая. Ученики, наделённые способностью чутко улавливать малейшую фальшь в поведении учителей, тотчас поняли, что Маргарита Павловна искренне готова делить с нами волнующее чувство высочайшей ответственности за исход предстоящих выпускных экзаменов. Расположение и любовь к ней заметно подскочили. Не только она, но и многие другие учителя взялись разговаривать с нами, как с равными. Пётр Афанасьевич обращался с каждым даже на «вы».

Это был, к сожалению, короткий период небывалого творческого сотрудничества учителей и учеников, какого мы не знали на протяжении всех предшествующих лет учёбы. Если бы такое согласие и взаимопонимание между нами были всегда, то из стен школы мы вышли бы на порядок богаче знаниями.

В перерывах мы, как и прежде, бегали курить. В дощатый туалет во дворе набивалось несколько куряк одновременно. Из всех щелей туалета валил клубами дым. Директор школы, проходя мимо, ограничивался теперь шутливым замечанием:

- Дымите, как в английском парламенте.

Ребята меж собой посмеивались:

- Он историк, ему лучше знать, где как дымят.

На учительском столе в классе появились трогательные букетики цветов, собранные учениками в знак признательности учителям. В воздухе класса и школьного двора разливался, сладко теснил грудь грустный дух расставания со школой, с классом, с бесконечной юностью. За открытым окном тихо шелестела нежная листва клёнов и берёз, из окон учительской радиоприёмник доносил радостную песню Стрекозы из одноимённого фильма. Голос другой певички следом ласково и трепетно сообщал о беспокойстве в Самаре-городке, где от семнадцати до двадцати замучила любовь.

Валентина Ивановна на консультации по химии поясняла:

- В колбу со смесью, видите, я из пробирки выливаю... Происходит реакция – выделяется газ. Смесью как бы вскипает, газ пузырьками поднимается вверх. Это и есть признак реакции.

- Запомни, Петька, колбу с пузырьками. Тот раз, сэр, ты пару схватил за то, что про пузыри забыл, - тычет в бок и ехидно мне шепчет на ухо сэр Олокин.

Наступила полоса экзаменов. Егорьевцы называли их по-старинному – испытаниями. Девять испытаний одно за другим, как штормовые волны, накатывали на наши бедные головушки. Не успеешь вынырнуть из-под одной волны, смотришь – над тобой следующая вздыбилась. Того и гляди краем зачерпнёшь и, как теперь говорят, выпадешь в осадок.

Откуда и бережливость ко времени явилась! Каждую минуту старались использовать для повторения материала. То с Сергеем Вериним, то с Ниной Муриновой забирались куда-нибудь в укромный уголок или на сук дерева под школьным окном и до отупения штудировали очередной предмет.

За нашими испытаниями Егорьевка следила с большим интересом. Председатель Иван Сергеевич в разговоре с мужиками насчёт меня прогнозировал:

- Ни-и-и! Петька испытания ни-и-и! Недотёпа! Где ему? Ни хрена не сдаст.

Встретился утром по дороге Павел Михайлович, спрашивает:

- На экзамен, Петя?

- Да.

- Какой сегодня?

- Физика.

- Ну, успехов тебе. Как говорят, ни пуха, ни пера!

- Спасибо, - отвечаю

- Да не спасибо говорят, - поправляет учитель. – В таких случаях принято отвечать: к чёрту.

- К чёрту! – говорю я, а сам покраснел, как рак. Куда посылаю? Учителя-то?

Но вот последний экзамен позади. Слава богу, без троек обошлось. Даже сочинение про молодогвардейцев на четвёрку потянуло.

Узнал об этом Иван Сергеевич и сделал моей сестре Шуре авторитетное заявление:

- Хы! Ишшо бы! Петька! Петька ваш такой же вон, как мой Петька, который на Мнукском едре в Москве. Это тебе не баран чихнул! Лётчик! И ваш Петька тоже далеко пойдёт. Далеко-о! – и указательным пальцем в небо ткнул.

Такие мы егорьевские. Спорим с собой и между собой спорим, а как до истины, так она хоть не рождайся.

Выпускного вечера десятый «Б» почему-то не сделал. Разбрелись по белу свету без торжеств, без песен, без гуляний.

Тихо растворился класс в народе. Как тот химический элемент в однородной среде. Без пузырей.

ДЕСЯТОЕ ИСПЫТАНИЕ

Однажды весной с клубной вечеринки я проводил её домой до калитки. С тех пор и повадился.

Как-то по-особому приятно и радостно было быть рядом с ней под ручку. Чувствовать терпкий аромат её рыжей косы, ощущать тепло маленькой жёсткой руки и неторопливо разговаривать о деревенских и школьных делах, о литературе, обсуждать образ

светлого будущего, которое без всяких сомнений находится где-то рядом и ждёт, когда мы ступим под его радужные своды.

От клуба до её дома идти метров триста, если по земле. Но в те годы мы умели и часто отрывались от бренной, взявшись за руки, расправляли крылья мечты, устремлялись ввысь и кругами парили в поднебесье. Оттого каждое провожание наше превращалось в длительный счастливый полёт.

Приземляясь, мы обнаруживали, что стоим у калитки, бредём на поскотину, сидим на заброшенном тракторном прицепе. Но и с земли мы продолжали зрить в небо, на ярко мерцающие звёзды, на выплывающую из-под облаков луну.

Целоваться я не умел и не смел. Какой-то ограничитель внутри меня срабатывал. Правильно меня Иван Сергеевич назвал недотёпой-то. Одно название, что ухажёр. До шестнадцати лет дожил, а только и научился, что за шею обнимать и щекой к щеке прислоняться.

- Шурка, я Нинку провожать хочу. О чём с ней разговаривать-то? – спрашивал я Шурку Растатурина. Он на три года старше меня и по этой части собаку съел.

- Ну, о чём? Скажи сначала, какая сегодня тихая погода. Потом что-нибудь про луну, а там как разговоритесь...

По Шуркиному совету я и начал. Скованность постепенно сама собой растворялась. Уединённое, даже молчаливое общение, даже вздохи и паузы позволяли полнее чувствовать и узнавать духовный мир друг друга и, в зависимости от того, был ли он привлекательным или отталкивающим, происходило сближение или удаление.

Её духовный мир меня привлекал, чувство духовного родства со временем явно нарастало.

Казалось, нашей дружбе ничего не угрожает. Я заходил за ней по пути в школу, ждал, пока она съест свою кашу, и мы весело отправлялись в путь.

На обратном пути иногда останавливались на лугах за Шуганской речушкой. Нина любила там собирать цветы. Тем временем я делал вид, что наблюдаю за сусликами. На самом деле зверьки привлекали меня меньше всего. Я любовался идиллической картиной, в центре которой был образ юного создания в ситцевом платьице. Курносое лицо, усыпанное веснушками, среди цветов необычайно привлекательно и мило. В голове зарождался рой самых нежных и поэтических сравнений. Однако слова такие, по егорьевским нормам, вслух произносить не полагалось. Подобные нежности почему-то назывались телячьими и понимались как

родственные книжному, сентиментальному, мужицкой натуре не свойственному. Памятуя о расхожей формуле: где есть любовь, там слов не надо, любовными объяснениями мы не злоупотребляли, хотя краткое, как вспышка спички, признание в любви однажды состоялось.

Но чувство любви, если это была действительно она, или привязанность, объединяющую нас без всяких сомнений, мы не умели беречь и ненароком испытывали на прочность размолвками и ссорами.

Один из таких конфликтов возник и во время экзаменов.

Пригласила Нина к себе в гости в Егорьевку подружку-одноклассницу, островскую Шуру Зайцеву. В программе приёма весёлой жизнерадостной гостьи большое место отводилось егорьевской улице, где, как само собой разумеется, я должен был играть на гармошке.

На улицу я не пришёл. То ли проспал, то ли ещё какие обстоятельства помешали. Девчонки готовились, наряжались, настраивались, предвкушали. Ради танцев поди и Шурка за восемь километров пришла. А я все планы сорвал!

Реакция не замедлила сказаться. Пузыри из кипящей среды вылетели тут же. Характер-то у девки, ох, какой закомуристый! Не приведи господь! Между нами говоря, это всё же лучше, чем его или совсем никакого нет, или тряпичный, который мужики под ноги себе бросают, обувь вытирать. Но не до такой же степени! Нина спела такие дерзкие частушки:

Мне милёнок изменил
А я сказала: наплевать,
Я такого лягушонка
Решетом могу поймать.

Как Егорьевские ребята
Не поют, а квакают.
Целоваться не умеют,
Только обмуслякают».

Полюбить, так полюбить
Паренька хорошего,
А такого нечего,
Который дремлет с вечера.

Народ честной ахнул. Все поняли, в чей адрес частушки. Мне об этом вечере немедленно рассказали. Разразился скандал. За Ниной по пути в школу я, разумеется, заходить не стал. Разговаривать перестали. «Я тебя не знаю и знать не хочу!» - было написано на наших физиономиях. Это на поверхности. А внутри кипело, бурлило и разрывалось на куски. Всё существо моё – вопреки обиде и уязвлённому самолюбию – протестовало против разрыва отношений и жадно искало повод к примирению.

Таким поводом была для нас дорога в Егорьевку.

Экзамен по физике закончился в конце длинного дня. Пока комиссия подводила итоги экзаменов, а мы ожидали объявления оценок, над землёй опускался вечер. Каждая из враждующих сторон продолжала сохранять холодную неприступность крутой скалы. В десятом «Б» егорьевских, кроме нас, никого не было. Так что каждому теперь, на ночь глядя, предстояло отправиться в путь в гордом одиночестве по безлюдной просёлочной дороге.

В закатных лучах солнца сухая, укатанная тележными колёсами, утоптанная конскими копытами дорога блестит, как лакированная. По такой дороге идти - одно удовольствие. Особенно, когда вдвоём. Но сегодня и накатанная дорога не радует. В вечерней тишине звуки шагов раздаются далеко и гулко.

Не торопясь, шагаю впереди. Слышу, как сзади, постукивая каблучками новых, к экзаменам купленных туфелек, на почтенном расстоянии от меня топает чужой человек – Нина. Не догоняет, но и не отстаёт. Отстать подальше – в темноте страшно, догнать – была нужда!

Не успели дойти до Шуганки-речки, как ночь плотно окутала землю чёрным покрывалом.

Вот уж пересекли дорогу, ведущую из Шуганки в Чекмак. Впереди Артакул, берёзовая посадка. Большая половина пути позади, но на передовой линии холодной войны всё остаётся без перемен. Каблучки сзади отстукивают всё на том же расстоянии. К шагам прислушиваюсь не только я. Мои шаги тоже находятся под строгим неусыпным контролем. Я встал – сзади каблучки сразу тоже умолкли. Я пошёл – за мной, как эхо - топ-топ-топ. Такая игра сначала забавляла, а по мере приближения к деревне начинала раздражать и злить. Во мне всё возрастало напряжение, замешанное в один клубок из противоречивых чувств любви и ненависти. Что же теперь? Так и будем идти – сорок метров дистанция? Скоро ведь и дорога

закончится; и мне казалось, что если сейчас не помиримся, то не помиримся уже никогда. Это будет конец, который не укладывался в сознание и страшил. Подходя к Артакулу, я замедлил ход в надежде, что спутница не заметит моего маневра и скоро поравняется со мной. Но шаги сзади тотчас поредели. Я снова встал. За спиной, как по команде, снова наступила тишина. От злости я готов был выпрыгнуть из штанов! Решаю – стоять до победного!

Стою, прислушиваясь к ночной тишине, никаких звуков, кроме крика перепёлки во ржи и еле внятного тоскливого стрекота разбуженного придорожного кузнечика, в мире не слышно. Ухает сердце в груди, отдаваясь пульсирующими ударами в висках. Пустая, без звука шагов, тишина кажется бесконечной.

Но вот слышу, сделан, наконец, первый робкий шаг. Топ! Как удар колокола прозвучал. Топ-второй! Идёт! Звуки шагов выравниваются, становятся уверенными и решительными, раздаются всё ближе и ближе. Вот и сам силуэт появился! У меня нет никаких сомнений, что если не остановлю – пройдёт мимо! И тогда всё! Бежать за ней мне не позволит самолюбие... Преодолевая барьер отчуждения, воздвигнутый раздором, освобождая грудь от распиравшего кома противоречивых чувств, говорю:

- Слушай, Нин, давай остановимся. Отдохнём малость.

- Ну... давай остановимся, постоим, - отвечает тихо и останавливается, облегчённо вздыхая. Как будто огромный груз с плеч сбросила.

Примирительный тон ответа и вздох облегчения лучше всяких слов говорят о том, что скала рухнула.

- Вон там, в посадке, - говорю.

Идём к посадке, к рядам берёзок. Как славно, что они есть и на наших глазах выросли выше человеческого роста.

Дышим густым ночным настоем берёзовой свежести и звёздной прохлады.

- Как здесь пахнет берёзками! Чуешь?

- Чую, - отвечает и зябко поёживаясь, прижимается ко мне.

Разрядка напряжения состоялась. Мир восторжествовал. Посадка, которая в былые дни служила нам местом привала, примирила нас окончательно.

Похожие на эти, начинающие жить деревца, такие же зелёные и свежие, мы трепетали от счастья быть вместе на Егорьевской земле. Чтобы закрепить примирение, употребляю свои ухажёрские

способности, обнимаю подружку за шею и прикасаюсь горячей щекой к щеке пылающей.

Дальше пошли рядом. Плечо к плечу. До самой Егорьевки.

Так с тех пор и ходим по земле вместе. То поругаемся, то помиримся. Не привыкать стать.

1991-1993 гг.

Петр Кириллович старше меня на 10 лет, вот уже 14 лет как нет его с нами, и я решил выполнить его мечту - обновить его труд, при этом добавить свои воспоминания. Деревенская жизнь мало менялась со временем. Застал я и конный двор, и кузницу со столярной мастерской, и элеватор. Помню еще многих сторожилов деревни. Так же ездили в Муслюмово на Сабантуй и также болели за нашего жеребца Конспекта, хотя к тому времени его уже реже выпускали на скачки. Школа и клуб с избой-читальней так же были в центре деревни. Вот только сама деревня резко сократилась в размерах.

Я порылся в архивах в Муслюмове, а Валерий Растатурин - в Казани. Это помогло установить родословную рода Растатуриных, глубже понять как жилось жителям деревни в тяжелые годы войны и послевоенного периода. К сожалению, многие материалы уже не сохранились, но то, что нашлось, уже представляет интерес.

Ф. Долинин

ИСТОКИ РОДА РАСТАТУРИНЫХ

Книга, написанная Петром Кирилловичем Долининым, называется «Жила была Егорьевка – страна моего детства». По предложению племянника автора, Федора Ивановича Долинина и, с любезного согласия супруги, Долининой Нины Александровны, было решено дополнить книгу главой об егорьевцах, носивших фамилию Растатурины. Род Долининых и род Растатуриных давным-давно

кровно породнились не один раз. Достаточно сказать, что маму Нины Александровны Долининой звали Екатерина Федоровна в девичестве Растатурина. Представители фамилии Растатуриных так же, как и представители фамилии Долининых, оставили заметный след в недолгой истории Ново-Егорьевки. И мы тешим себя надеждой, что автор книги Петр Кириллович Долинин одобрил бы наше решение дополнить книгу главой о Растатуриных.

Желание узнать как можно больше о своих предках у меня возникло до того, как я прочитал труд Петра Кирилловича. Однако только после прочтения этой книги желание переросло в большую жизненную потребность. И я просто заболел этой темой. К этому времени я уже был знаком с некоторыми своими родственниками по линии Растатуриных, о которых до этого ничего не знал.

Так получилось, что жизнь развела нас когда - то в разные стороны. Отец мой и мама умерли рано. И тридцать с лишним лет с моими близкими по отцовской линии не было никакого общения. И только в 2012 году, благодаря Интернету, большая семья Растатуриных постепенно начала объединяться.

Может быть и Интернет, сам по себе, не помог бы в этом объединении, если бы не один человек. Зовут этого человека Растатурина Надежда Александровна.

Это жена одного из моих дальних родственников. Растатуриной она стала в замужестве. Надежда Александровна с самого первого дня нашего с ней знакомства проявила большое желание и огромный интерес к работе по созданию родословной семьи Растатуриных. Я познакомился с ней во всемирной паутине. Надежда Александровна родилась и выросла в селе Русский Шуган, куда после исчезновения деревни Ново-Егорьевка перебрались многие Растатурины. Где доживал свой век и похоронен мой дед Растатурин Иван Сергеевич. Там и сейчас живут родные мне люди. Надежда Александровна многих из Растатуриных знает и помнит с детства. Именно она познакомила меня со многими моими родственниками. А была еще совместная работа по поиску людей, исторических документов и фактов в Интернете и в различных архивах. В том числе и в архиве ФСБ России. Ведь деда мужа Надежды Александровны расстреляли в 1938 году как врага народа. Подробнее об этом я расскажу дальше. Познакомила она меня и с Федором Ивановичем Долининым, который поставил перед собой цель переиздать книгу своего дяди Петра Кирилловича. Знакомство с Федором Ивановичем также значительно продвинуло создание истории нашей семьи. Ведь он по

отцу тоже Растатурин и очень много знает и помнит. Совместными усилиями нам удалось создать семейное древо, в котором на конец 2015 года имеются данные о более чем трехстах представителях семьи Растатуриных. Начиная с 1799 года рождения. Нужно отметить, что в поисках сведений о наших предках огромную помощь оказала сама фамилия. Ведь фамилия наша не относится к числу распространенных. Поэтому любой человек с такой фамилией, найденный в архивных материалах, с очень большой вероятностью является нашим родственником. Остается только определить степень родства.

Все мои вновь обретенные родные люди заинтересовались историей нашей большой семьи. Они оказали неоценимую помощь в работе над созданием нашего семейного дерева. Своей поддержкой, своими воспоминаниями, воспоминаниями их родителей. И я окунулся в безбрежный океан архивных материалов. Это захватывающая работа! Перелистывая страницы старинных метрических книг различных церквей, просматривая протоколы заседаний сельских советов, протоколы собраний партийных организаций того времени, в которых упоминаются люди с фамилией Растатурины, неоднократно ловил себя на мысли, что в данный момент живу с ними в том времени. Радуюсь, когда вижу запись о рождении родного человека, или запись о том, что кто-то из наших сочетался законным браком. Болью в сердце отзывается чья-то смерть. Особенно когда умирал малолетний ребенок ...

Из рассказов близких людей, из сведений, полученных в различных архивах, постепенно сформировалась довольно целостная история семьи Растатуриных. Конечно в ней еще много белых пятен. Какие-то из них мы еще постараемся закрыть, а какие-то так, по - видимому, и останутся незакрашенными навсегда. Поделиться сведениями о житье-бытье Растатуриных, которые удалось получить, изучая скудные архивные материалы, я возьму на себя смелость.

Первые упоминания о Растатуриных, проживавших в Ново-Егорьевке, обнаружены в материалах церкви села Русский Шуган и датируются 1895 годом. Перебрались Растатурины в Егорьевку из села Балтаево Мензелинского уезда Уфимской губернии. Что их подвигло на такой шаг, достоверно мы, видимо, не узнаем уже никогда. Хотя впрочем, какие то предположения можно сделать.

Метрические книги Николаевского собора г. Мензелинска и Никольской церкви с. Балтаево Мензелинского уезда Уфимской губернии свидетельствуют о том, что в середине девятнадцатого века

в с. Балтаево проживало много Растатуриных . И главой этого семейства был Иван Иванович Растатурин. Годы жизни Ивана Ивановича удалось установить точно. Родился он в 1799 году. Прожил 72 года и умер в 1871 году. Супругу его звали Василиса Ивановна и прожила она ровно 80 лет. С 1800 по 1880 год. Было у них два сына и дочь. Возможно были еще дети, но точно установлено только то, что сыновей звали Филипп Иванович, Иван Иванович, а дочь - Мария Ивановна. Все Растатурины, жившие в Балтаево, были крепостными до реформы 1861 г. После отмены крепостного права они получили право выкупить надел у помещика. После заключения выкупной сделки крестьяне переставали выполнять повинности в пользу помещиков и превращались из временнообязанных в «крестьян-собственников». Отныне земля, бывшая ранее юридически собственностью помещиков, переходила в крестьянскую собственность, и закон охранял ее от посягательства со стороны помещиков. В документах, начиная с 1863 года, Растатурины имеют статус крестьянина - собственника.

Первое, на что обращаешь внимание, это то, что практически все семьи Растатуриных до революции 1917 года были многодетными. В них рождалось по восемь – десять детей. К сожалению, многие из этих детей не доживали и до трех лет. И в графе « причина смерти » у них записано «от младенческой ». Что означает такая формулировка применительно к современной медицине, пока непонятно. Когда венчался мой прадед Сергей Филиппович Растатурин, поручителями (свидетелями) на его свадьбе, согласно записи в метрической книге, были Василий Иванович Растатурин старший и Василий Иванович Растатурин младший. Это два родных брата, которые моему прадеду приходятся двоюродными братьями. Я не сразу понял, что эти два Василия - родные братья. Один из них родился в 1864 г., а второй – в 1868 г.

В метрических книгах и у того, и у другого родителями записаны Иван Иванович Растатурин и Параскева Алексеевна Растатурина. Я впервые в своей жизни столкнулся с тем, что два родных брата названы одним и тем же именем. Сначала я вообще не допускал, что такое возможно. Несколько раз проверял все записи в метрических книгах. Искал ошибку. Но ошибки не было. Сначала я решил, что, скорее всего, старший Василий умер и родившегося после этого мальчика назвали тем же именем. Такое и в наши дни случается. Однако записи о смерти Василия старшего я не нашел. И только когда я обнаружил запись о венчании моего прадеда, из

которой видно, что оба Василия благополучно дожили до совершеннолетия, я поверил, что родные братья вполне могли нарекаться одним и тем же именем. Впоследствии такие случаи встречались в метрических книгах неоднократно. С братьями Василиями был еще один любопытный случай. У обоих в один и тот же год, в один и тот же день родились дочери. И обе девочки были названы Параскевами. Я долго размышлял над такими историями с именами. И склоняюсь к тому, что одинаковые имена присваивались новорожденным согласно святцам – церковному календарю имен. И нарекали детей священники...

Все Растатурины, проживавшие в Ново-Егорьевке, являются прямыми потомками Филиппа Ивановича Растатурина и законной жены его (так записано в метрических книгах) Варвары Егоровны. У Филиппа Ивановича и Варвары Егоровны было шесть сыновей: Сергей Филиппович (1869 г.р.), Федор Филиппович (1886 г.р.), Гавриил Филиппович (1877 г.р.), Иван Филиппович (1874 г.р.), Василий Филиппович (1882 г.р.), Иоанн Филиппович (1888 г.р.) и две дочери: Анна Филипповна (1880 г.р.) и Елена Филипповна (1891 г.р.). Причем в Егорьевку, судя по всему, перебрались только трое: Сергей Филиппович, Федор Филиппович и Гавриил Филиппович. Вполне вероятно, что их переезд на новое место жительства был напрямую связан с крестьянской реформой 1861 года, условия которой были кабальными для крестьян. Крестьяне должны были в течение 49-ти лет выплачивать кредит, полученный на выкуп своего надела. И только после того, как в 1905 году были сожжены 15 % помещичьих усадеб в России, крестьянские платежи были отменены. Все сыновья Филиппа Ивановича занимались хлебопашеством. Поэтому эту ветвь Растатуриных в Балтаево называли «Булочные», в отличие от другой ветви, именовавшейся «Мясные». «Мясные», как не трудно догадаться, занимались торговлей мясом. Земли в Балтаево было мало.

Вот и получается, что «Мясные» остались в родном селе, а «Булочные» поехали искать новые земли и основали деревню Ново-Егорьевку вместе с такими же переселенцами из других мест. И я сейчас, бывая в этих местах, могу сказать, что место для новой деревни тогда было выбрано грамотно. Вокруг в основном большие ровные площади плодородной земли. А это самое главное для земледельцев. И речка была, от которой сейчас уже практически ничего не осталось. Был пруд, была мельница. Работа кипела. Люди строились. Деревня расширялась...

Назову Растатуриных, потомков переехавших в Егорьевку из Балтаева. У Сергея Филипповича и жены его Параскевы Петровны было четыре сына и две дочери: Иван Сергеевич, Михаил Сергеевич, Дмитрий Сергеевич, Симеон Сергеевич, Евдокия Сергеевна и Мария Сергеевна. Дети Федора Филипповича и его первой жены Анны: Анна Федоровна, Александра Федоровна, Екатерина Федоровна, Вера Федоровна.

Дети Федора Филипповича и второй жены его Федоры Евлампиевны: Николай Федорович, Иван Федорович, Александр Федорович, Василий Федорович.

У Гавриила Филипповича, имя жены которого пока не установлено, было три сына: Евгений Гаврилович, Сергей Гаврилович и Петр Гаврилович.

О Растатуриных уже на базе найденных архивных данных можно написать отдельную книгу. Может быть мы это и сделаем со временем. В рамках же данной книги, думается, будет правильным остановиться лишь на некоторых эпизодах очень непростой, и даже трагичной, жизни отдельных достойных представителей рода Растатуриных. Связаны эти истории со временем самых тяжелых испытаний в истории страны и ее жителей.

Первая история о судьбе Растатурина Николая Васильевича, родившегося в 1902 году. Это сын упомянутого уже мной Василия Ивановича младшего. Он не жил в деревне Егорьевка. Вполне вероятно он в Егорьевке и не был никогда. Родился и прожил свою короткую жизнь в селе Балтаево Мензелинского района. Все



егорьевские Растатурины - выходцы из этого села и являются близкими родственниками Николая Васильевича. Все мы знаем о репрессиях 1937 г. Слышали, читали, смотрели документальные и художественные фильмы. Но все это воспринималось как что-то далекое, происходившее давно и с другими людьми. Когда же нам удалось получить доступ к подлинным документам и ознакомиться с делом обвиненного во вредительстве бригадира полеводческой бригады, признанного тройкой НКВД СССР

СССР
 Татарстан АССР
 дәүләт
 ыкмачылыгы
 ОМНЕТЫ

КОМИТЕТ
 Государственной
 Безопасности
 Татарской АССР

В Отдел ЗАГС

Мензелинского района РТ
 г. Мензелинск.

10 января 2000 г.
 № Р-454
 гор. Казань

Извещение

Просим исправить в записи акта о смерти Растатурина
 (фамилия)
Николая Васильевича, 1902 г.р., ур. и житель д. Балтаево Мензелинского района РТ
 (наименование уполномоченного)

о смерти с 21 июля 1944 г. на 8 января 1938 г.

причину смерти с склероз сосудов головного мозга на расстрелян

место смерти г. Мензелинск

Регистрация смерти произведена в отделе загса Мензелинского района

согласно нашему запросу № 8/L-787 от 29 апреля 1950 г.

_____, актовая запись № _____
 (дата регистрации)

После внесенных исправлений свидетельство о смерти просим выдать (выслать) гр. _____
сыну - Растатурину Ивану Николаевичу

ожившему _____

О внесенных исправлениях просим сообщить в наш адрес.

При отсутствии актовой записи, зарегистрировать вновь.

Начальник подразделения КГБ РТ
Р.Р. Хайруллин

«врагом народа» и по приговору этой тройки расстрелянного в январе 1938 г. родственника, носившего такую же фамилию как и мы, стало понятно, что это все совсем - совсем не далеко...

Когда я читал материалы уголовного дела, сфабрикованного на Николая Васильевича, у меня учащенно билось сердце, и кровь стучала в висках. «Врага народа» из человека в 1937 году сделали на основании надуманных и подтасованных «фактов». Ему были предъявлены обвинения едва ли не в организации «вилочного восстания», вспыхнувшего в 1920 году в Заинском районе, (когда

обвиняемому было всего 18 лет), а также наклеен ярлык кулака. На основании таких «доказательств» был расстрелян отец трех малолетних детей. Жене долго не сообщали о судьбе ее мужа. А она искала и ждала его всю свою оставшуюся жизнь. Только в начале пятидесятых годов ей прислали извещение, что Николай Васильевич умер 21 июля 1944 года от склероза сосудов головного мозга в каком-то лагере под Магаданом. Было даже оформлено свидетельство о смерти, в котором причиной смерти назван склероз сосудов головного мозга. В 1960 году Николай Васильевич был реабилитирован. Но только в начале двухтысячного года было выписано новое свидетельство о смерти, в котором в графе «причина смерти» написано «расстрелян».

Я до сих пор нахожусь под впечатлением от знакомства с этим делом. То, что оно ужасно, несправедливо, жутко - это абсолютно бесспорно. Еще одна мысль не дает мне покоя. Как относиться к тем людям, которые выносили такие приговоры? С одной стороны - они совершили подлый, бесчеловечный поступок. С другой стороны - в душе моей смятение. А как бы я и каждый из нас, ныне живущих, поступил на их месте? В 1937 году сверху на места была разослана разнарядка, в которой для каждого региона определялось, сколько человек должно быть расстреляно, а сколько должно быть приговорено к длительным срокам заключения. К концу года выяснилось, что Мензелинский район план по расстрелам не выполняет. Данные об этом мной получены из открытых источников. Вот так Николай Васильевич своей насильственной смертью обеспечил выполнение этой разнарядки. На его месте мог оказаться абсолютно каждый. И можем ли мы с высоты сегодняшнего времени осуждать тех людей, которые боясь за свои жизни, приговаривали людей к смерти ни за что? Давайте попробуем каждый сам себе честно ответить на вопрос: А как бы я поступил на их месте? Вопрос очень не простой...

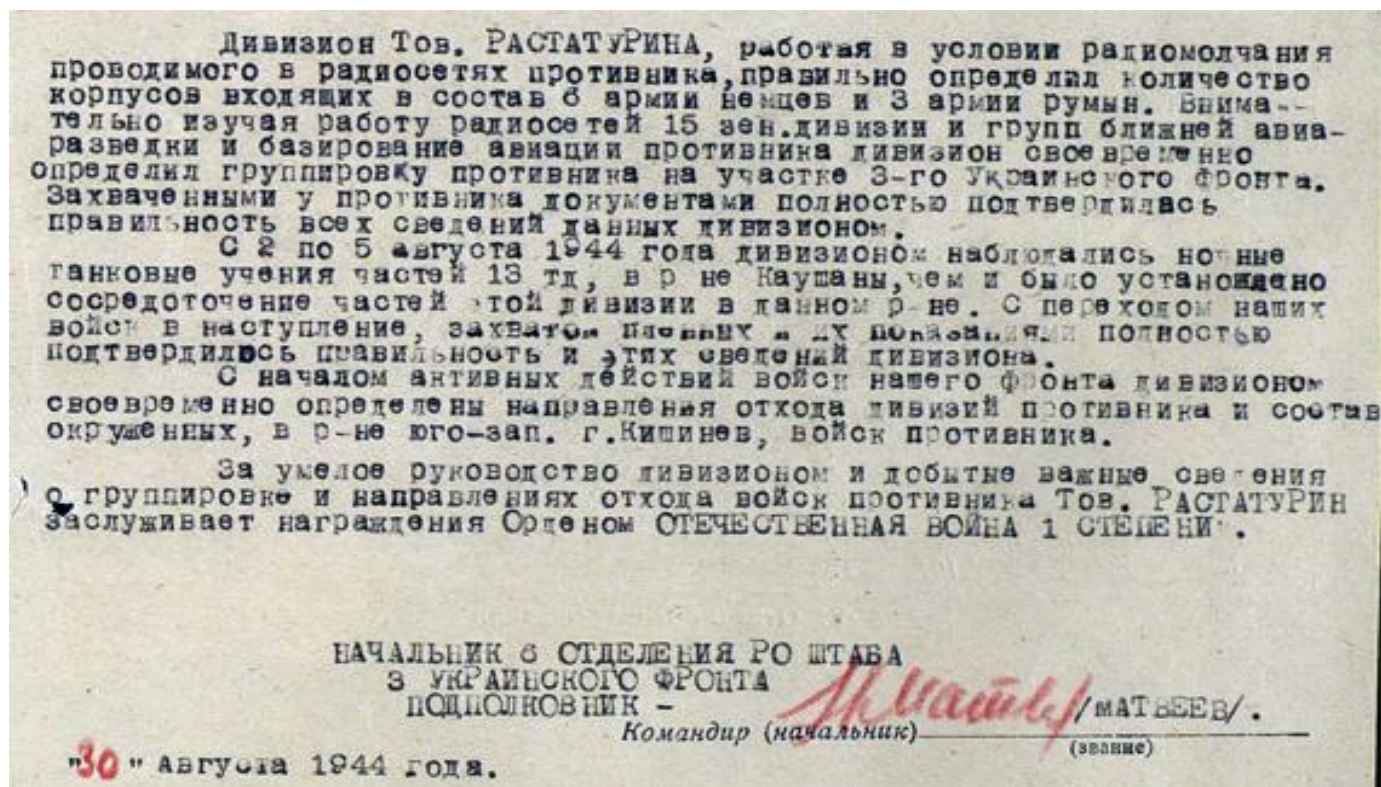
А потом была большая война. И мне хочется рассказать о трех Растатуриных, уроженцах деревни Егорьевка .

Из них двое – родные братья Евгений Гаврилович и Сергей Гаврилович. Оба родились в Егорьевке. Очень рано остались без родителей и воспитывались в мензелинском детском доме. Первый из них перед войной работал главным редактором мензелинской районной газеты, а второй стал кадровым военным. Оба воевали. Евгений Гаврилович был политруком роты. Провоевал недолго. В 1942 году погиб в боях под Смоленском.



Растатурин
Сергей Гаврилович

Его родной брат командовал отдельным дивизионом радиоразведки. Дивизион под командованием подполковника Растатурина прошел славный боевой путь. Особенно он отличился при освобождении города Кривой Рог на Украине. За что получил наименование «криворожский». Сам подполковник Растатурин Сергей Гаврилович неоднократно был награжден государственными наградами. Выписки из официальных наградных документов лучше всего дают представление о его боевых подвигах.



Дивизион подполковника РАСТАТУРИНА в период Венской операции дал командованию фронта целый ряд ценных сведений о противнике. Своевременно предупредил о подходе с западного фронта в р-н оз. Балатон 2 танкового корпуса СС в составе 2 танковой дивизии СС "Райх" и 9 танковой дивизии СС "Тогенштауфен", о переброске с участия 2 Украинского фронта 1 Танкового корпуса СС в составе 1 ТД "А. Гитлер" и 12 танковой дивизии СС "Титлерхенд". Правильно определил районы сосредоточения 3 ТД СС "Тотенkopf" и 5 ТД СС "Викинг", 1, 3, 6, 23 танковых дивизий. Своевременно определил подход управления 6 танковой армии СС.

За образцовое выполнение заданий по радиоразведке в период разгрома 11 танковых дивизий в районе оз. Балатон, Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР, дивизион подполковника РАСТАТУРИНА награжден орденом "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА".

С переходом войск фронта в наступление, дивизион правильно определил направление отхода всех дивизий 6 танковой армии СС.

За умелое руководство дивизионом подполковник РАСТАТУРИН заслуживает награждения орденом "ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И СТЕПЕНИ".

НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДОТДЕЛА ШТАБА
3 УКРАИНСКОГО ФРОНТА
ГЕНЕРАЛ-МАJOR

/А. РОГОВ/

"20" апреля 1945г.



Растатурин
Павел Михайлович

Не менее героически проявил себя в боях с фашистами еще один представитель фамилии Растатуриных – Растатурин Павел Михайлович, двоюродный брат моего отца. Он приписал себе год, чтобы быстрее попасть на фронт. И тут лучше всего о подвигах Павла Михайловича расскажут его наградные документы.

16 Командира отделения роты автоматчиков старшего сержанта Растатурина Павла Михайловича за то, что во время наступления воевал на деревне Лосок, Невельского района, Калининской области 18.10.43 года был ранен и, сглатывая себе перевязку, не эвакуировался с поля боя, а остался и продолжал совместно с отделением выполнять боевую задачу. В бою за деревню Новоевцы, Гродненского района, Витебской области 20.12.43г. со своим отделением первым ворвался в немецкий траншею, нанеся громадный урон противнику, истребив до десяти солдат врага, где и был ранен второй раз осколком немецкой мины, проявив при этом стойкость, мужество и отвагу.

1944 года рождения, русский, беспартийный. Призван в Красную Армию Мусоголовским райвоенкоматом Матвеевской РСФСР в августе 1942г., не награжден, двенадцать ранен: 18.10.43г., 20.12.43 года.

В боях под деревней Сухой-Бог вои́сточнее деревни Нивка, Полоцкого района, Витебской области 3 июля 1944 года ему была поставлена задача во взводе занять в тыл противника, отрезать пути отхода, уничтожить руководящих, * честно выполнил задачу не имея потерь личного состава взвода, лично сам со взводом овладели на себе силе врага, что способствовало полному возмощности продвижению нашей пехоты вперед тов. Расплатури́т лично из своего автомобиля уничтожил 4 немцев и лично привел пленного (сержанта)

За проявленную самоотверженность, умение руководить выполнением задачи, образцов мужества и отвагу.

Ходатайствую о награждении, проявившейся в этой награды орденом "Красная звезда"



Командир 156 стрелкового полка
Подполковник

Лунин

Лунин

" 10 " июля 1944 г.

Во время прорыва сил тылового укрепления обороны пр-ка 5 октября 1944 года в 500 м Командир взвода, первым ворвался на высоту 128,5 и сам лично захватил в плен немца с турели и взял в плен 2 немцев.

Во время прорыва сил тылового укрепления обороны пр-ка 5 октября 1944 года в 500 м Командир взвода, первым ворвался на высоту 128,5 и сам лично захватил в плен немца с турели и взял в плен 2 немцев.

За умелое руководство в бою, храбрость и смелость и проведенное умелое разведывание.

Ходатайствую о награждении Старшего сержанта Расплатури́та орденом Отечественной войны 2-й степени



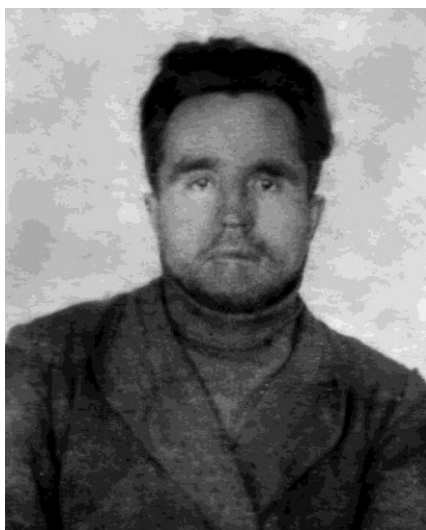
Командир 156 стрелкового полка
Подполковник

Лунин

Лунин

21 " Октября 1944 года

Читаешь эти документы и наполняешься гордостью, что у меня были такие героические родственники, что я ношу такую же фамилию. Хочется быть достойным их светлой памяти. Хочется передать эту гордость своим детям и внукам. И книга Петра Кирилловича просто бесценна для большой семьи Растатуриных.



Растатурин
Иван Сергеевич

Я долго думал, рассказывать ли об очень близких мне людях – о моем деде Растатурине Иване Сергеевиче и родной бабушке Растатуриной Анне Филипповне. И все - таки решил, что нужно рассказать. Потому что это рассказ не только о них, а еще и о благодарной памяти ныне здравствующих людей, которые жили с ними рядом когда-то.

Был я как то в селе Русский Шуган, где похоронен мой дед. Дед умер в 1982 году, и его уже не было в живых 32 года. Вечером я прогуливался по улице и встретил подвыпившего деревенского мужика, у которого из кармана штанов торчало горлышко начатой бутылки водки. Он остановился, почему то представился Адмиралом и спросил меня - кто я. Что -то, говорит, раньше я тебя не встречал. Я ответил, что Растатурин Валерий Александрович, что я внук Растатурина Ивана Сергеевича. Адмирал как то выпрямился, ненадолго задумался и произнес:

- Дааааа, Иван Сергеевич был мужик авторитетный... И как- то с уважением, как мне показалось, посмотрел на меня. Этих пяти слов было достаточно, чтобы на душе моей стало тепло и радостно. Дед мой был председателем колхоза «Красный путь» в Егорьевке с 1938 года до самой ликвидации колхоза в конце пятидесятых. И мне интересно было, как вспоминают о нем люди, хорошо его знавшие. Особенно отрадно было слышать от людей старшего поколения, что в тридцатых никто из колхозников репрессирован не был.

Бабушку свою родную я не видел никогда. К сожалению она умерла в 1951 году, за шесть лет до моего рождения. И то, что могилка бабушкина сохранилась и находится в достойном состоянии до сих пор, кажется мне чудом. Я уже не надеялся ее найти. Как же я был поражен, когда приехав в 2014 году на егорьевское кладбище, увидел оградку, простенький памятник с выцветшей фотографией и хорошей табличкой с надписью "Растатурина Анна Филипповна"...

Но больше всего меня поразило то, что на могилке лежали свежие искусственные цветы ... Значит за ней кто то присматривает! Приехав туда через год, я вновь обнаружил у бабушки свежие искусственные цветы... Мне удалось выяснить, кто эти люди. Это дочь и внучка одной женщины, с которой дружила когда - то моя бабушка. Выяснилось, что в тяжелые послевоенные годы, когда было очень голодно, моя бабушка спасла свою подругу и ее детей от голодной смерти. Она просто их подкармливала, снабжая продуктами. И я не думаю, что кто-то захочет ее упрекнуть за то, что она воспользовалась тем, что ее муж председатель колхоза. Когда мне спасенная бабушкой женщина рассказывала эту историю, я спросил ее: - Скажите, пожалуйста, у меня была хорошая бабушка? Она ответила: - Сынок, у тебя была очень хорошая бабушка! А потом она добавила : - Ты не переживай, сынок . Я умру, мои дети за этой могилкой будут ухаживать... После смерти бабушки моей прошло 65 лет ... А память у людей жива. Я горжусь своей бабушкой, которую никогда не видел. А так же я горжусь нашими людьми, которые не забывают то добро, которое для них сделали другие люди. Я горжусь тем, что я - русский! Я горжусь тем, что я - Растатурин !

Я попытался рассказать в своих записках о своих предках. Читателю судить о том, как это у меня получилось. Еще много чего можно рассказать о тех достойных людях, которые жили, трудились, рождались, женились и умирали в те далекие годы.

В заключение хотелось бы сказать, что современные поколения Растатуриных достойны своих предков. Это я могу смело утверждать, так как за три года познакомился со многими своими родственниками. Это действительно достойные, интересные и очень родные для меня люди . Растатурины !

ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ

Удивительная штука – жизнь! Уже тридцать пять лет нет с нами моего отца – Растатурина Александра Ивановича, того самого Шурки Растатурина, который учил автора этой замечательной книги общаться с девушками. Оказывается, мой отец уже тогда на этом «собаку съел». Давно уже нет в живых моего деда – Растатурина Ивана Сергеевича, тоже одного из героев данной книги. А также моего дяди и крестного - Николая Ивановича (Кольки) Растатурина (Буржуя) и еще одного дяди Петра Ивановича (Петьки) Растатурина.

И мне казалось, что ничего нового о близких мне людях я не узнаю уже никогда. Однако...

Благодаря техническому прогрессу, а конкретнее -Интернету, мне удалось найти много близких и далеких родственников, с некоторыми встретиться лично и составить довольно подробное генеалогическое дерево семьи Растатуриных. Одна из таких встреч с Долининым Федором Ивановичем предоставила возможность прочесть эту небольшую книгу. Я читал ее с упоением. Ведь эта книга о знакомых и дорогих с детства местах и о близких мне людях.

Егорьевку я помню очень смутно. Мне довелось там побывать в начале шестидесятых годов, когда мне было лет шесть наверное. Несколько раз меня в эту, уже практически умершую, деревню привозил отец. Отец работал бурильщиком в нефтеразведке. Они в то время бурили где то рядом. Отец сажал меня в кабину водовоза на базе автомобиля МАЗ - 200, с буйволом на капоте, и очень специфическим запахом смеси солярки и чего - то еще. Запах этот я помню до сих пор. Мы ехали по каким - то проселочным дорогам. Асфальтовых дорог тогда не было. Было жарко и пыльно. Когда вдалеке показались покосившиеся домишки, отец сказал: - «Смотри, сынок, это моя родная деревня - Егорьевка...». Когда мы подъехали ближе, и можно было посчитать количество домов в родной деревне отца, стало понятно, что для этого достаточно пальцев одной руки. Мы остановились возле одного из домов и зашли внутрь. Видимо, там жил кто - то из наших родственников или хороших знакомых отца. Хозяйева накрыли на стол, поставили самовар и угостили меня чаем с кусковым сахаром, который надо было откусывать специальными щипцами. Взрослые же разливали в граненые стаканы какую-то мутноватую жидкость, выпивали и закусывали вареной картошкой с зеленым луком. На этом мои личные воспоминания об Егорьевке заканчиваются. И конечно, я с огромным интересом читал то, что написал Петр Кириллович Долинин о жизни деревни и ее обитателей в те далекие годы, когда мой отец был еще совсем молодым. Множество порой удивительных фактов из жизни отца, деда, моих родных дядей удалось мне узнать. Причем большинство этих фактов подтверждает те мои впечатления о родных людях, которые сложились от личного общения с ними в детстве и из рассказов родителей.

Правда мои воспоминания, в основном, относятся к тому периоду времени, когда дед Иван Сергеевич со своей второй женой бабой Дуней жили в селе Русский Шуган. Умение деда организовать

застолье мне довелось испытать на себе еще в очень раннем детстве. Пример этот конечно абсолютно отрицательный, но что было, то было... Из песни слов не выкинешь. Приехали мы как - то с родителями в гости к деду. За столом собралась вся шуганская родня. И в разгар застолья дед протянул мне стакан с красной жидкостью: - «На, Валерка, выпей!» Я пригубил. Жидкость была горьковато-сладкая на вкус, ее было немного в стакане, и я выпил. Дед одобритительно хмыкнул и сказал: - «Молодец!». Было мне тогда года четыре отроду. Жидкость эта мне понравилась. И за вечер я еще несколько раз под столом пробирался ближе к деду, дергал его за штанину и просил: - «Дед, налей красненького!». Но больше мне ничего не перепало. К алкоголю я так и не пристрастился...

В. Растатурин.

РЫБАЛКА

Волею судьбы деревне не суждено было обосноваться на берегу крупной реки или озера. Лишь небольшая речка Баланнинка, взяв свое начало с родника недалеко от деревни Баланны, разделив деревню на две части и не набрав большой силы, через пять километров впадает в реку Ик. Ежегодно силами жителей деревни строилась запруда. Набрав воду, пруд преображал округу и влек к себе деревенскую детвору.



Пруд в деревне. Рисунок с фото 60-х годов.

Летом - купание до посинения, зимой - катание на коньках и игра в примитивный хоккей. Почему примитивный? Да потому, что в качестве клюшки использовалось вырубленное из тальника подобие клюшки, а шайбу заменял мячик или каблук от кирзового сапога. Рыбалка тоже была особенная, поскольку в речке водился лишь один вид рыбы – оголец (голец), эту рыбешку можно было ловить в любом месте на небольшую удочку. А более всего детвора ждала, когда начнут строить плотину. Как только перекрывалась речка, а вода в пруду еще не набралась, чтобы перетекать через водослив, - ниже пруда вода уходила, а в ямках на дне можно было руками ловить этого самого огольца. Грязные, но довольные приносили свой незамысловатый улов из двух-трех десятков рыбешек домой. Готовили эту рыбешку тоже по - особому. Чистить ее не надо было, так как она не имела чешуи, ее только потрошили, выкладывали на сковороду и заливали взбитым яйцом с молоком. Затем все это томилось в русской печи, а вкус - «пальчики оближешь». Плотину строили ежегодно, т.к. спокойная речка Баланнинка по весне, собрав воды из нескольких оврагов, становилась бурной и сносила плотину в считанные минуты. Но самая незабываемая рыбалка для меня, тогдашнего ученика четвертого класса, была рыбалка на Шумбуте. Шумбут - это рукав реки Ик, рядом с селом Русский Шуган. Как -то летом моя мама, Мария Кирилловна, собралась в Шуган - собирать смородину в уреме (так называли заросшую кустарником пойму реки Ик). Взяла и меня. Ночевали мы у Козырева Романа Ксенофонтовича - учителя, удивительно доброго и интересного человека. Его жена, Анна Федоровна, была мне тетей по отцу. Их старший сын Володя тогда закончил девять классов, был заядлым рыбаком. Все было припасено с вечера, и встав пораньше, мы вышли из дома.

- Серп возьми и нарежь пару снопов камыша, - сказала его мать, - крышу сарайки надо подлатать.

- Ладно, - ответил Володя, и мы быстро пошли к реке.

Шумбут встретил нас чарующей красотой. Зеркальная гладь воды нарушалась частыми всплесками рыбы, а в воздухе стоял пьянящий запах цветов, и на всю округу разносилось пение птиц.

- Вот здесь и остановимся, - тихо сказал Володя, показывая на небольшой островок посередине реки.

Быстро перебравшись на островок, настроив снасти, мы приступили к рыбалке. Клев был изумительный, клевала разная рыба:

сорожка, окунь, подуст, пескарь. Было ощущение, что рыба соревнуется за первенство - хватить червяка.

Отобрав несколько небольших рыбешек, Володя быстро расставил с десяток жерлиц «на живца». Не прошло и получаса, как первый шуренок был у нас в корзинке, а к обеду у нас уже был солидный улов. Среди общего улова выделялся солидных размеров соменок.

- На сегодня хватит, - сказал Володя, - еще камыша надо нарезать.

Подобрав хорошие заросли камыша, Володя залез в воду, начал резать камыш и подавать мне. Но не успели нарезать и одного снопа, вдруг заметили, как вокруг начала играть рыба, хватая насекомых упавших со срезанного камыша.

- Лови кузнечиков! – крикнул Володя, разматывая удочку.

Я не успевал ловить кузнечиков, а Володя одну за одной вытаскивал крупную красноперку. Так продолжалось минут двадцать. Клев прекратился так же внезапно, как и начался.

- Камыш я и завтра нарежу, - мы усталые, но довольные пошли домой. Такой интересной по своим особенностям и по разнообразию рыбы я не встречал на протяжении всей своей жизни. Это говорит о том, насколько обильным по рыбным запасам был Ик.

ПЧЕЛЫ

С каких времен в нашем роду появились пчелы, сейчас уже трудно установить. Сколько себя помню, постоянно рядом были пчелы, любовь к ним привилась с молоком матери и сохранилась на всю жизнь. Первый же медовый сезон моей жизни был ознаменован медовым купанием. В один из солнечных дней все взрослые занялись откачкой меда. Работа эта не из легких: надо и воду горячую постоянно держать для нагрева ножей, и тяжелые рамки носить от ульев, и делать все быстро, чтобы лишний раз не раздражать пчел. В такие дни они особенно агрессивные - срабатывает природный инстинкт сохранения своих запасов. Когда работа была закончена, и все взрослые занялись мытьем медогонки и прочей уборкой, я на какое-то время остался наедине с большими кастрюлями меда. Добравшись до одной из них (ходить я еще не ходил, но ползал шустро), к приходу взрослых я обеими руками залез в мед и с головы до ног был в меде.

- Ааа, батюшки, - только и сказала моя мама.

- Мади, мади, - с восхищением и огромной радостью лепетал я, потому что говорить еще не мог, а мади - означало мед. Сам я, конечно, этого не помню, но об этом с подробностями рассказывала моя мама. Второй запоминающийся случай «любовного» общения с пчелами произошел значительно позже, когда я учился в начальных классах. Сестре моей Галине было тогда года четыре, а нашей двоюродной сестре Насте было года три. Был солнечный июльский день, когда решили качать мед. Галю и Настю вывели за ворота, посадили в тенечке на траву, дали игрушки и предупредили, чтобы они не отходили никуда от дома. Детская память коротка и в самый разгар отбора меда, когда пчелы достигли высшей своей злобы, девочкам надоело сидеть в тенечке, и они вышли через дорогу на открытые луга собирать цветочки. Недолго они там погуляли, как на них напали пчелы. Крики и махание руками только усилили агрессию.

- Беги, спасай их, - крикнула мне мама и сунула в руки шаль. Едва я укрывал одну из них и прижимал к земле, вторая с ревом поднималась. Пока я возился с ними, пока подбежали взрослые, пчелы всю свою злобу переключили на меня. Сестренкам моим досталось по одному – два укуса, а сколько досталось мне - неизвестно, но к вечеру моя голова и лицо были похожи на один большой колобок - с ушами, но без глаз. Наверное этот случай стал своеобразной прививкой на то, чтобы на всю жизнь полюбить пчел.

ТРУД ПОЗНАЕТСЯ С ДЕТСТВА



Бабушка
Анна Растатурина

Мне было 4,5 года, когда родилась сестра Галя. А жили мы в то время в доме деда Федора Филипповича в Балтаеве. Рядом через овраг жила бабушка Анна Растатурина. Муж у нее рано умер, а сын Василий служил в армии. Была она очень добрая и приветливая. Мама часто ходила к ней пообщаться и брала нас с Галей. У бабушки Анны был медный ковш, который мне очень нравился, а еще она угощала меня морковью. И, хотя у нас была своя, её морковь мне казалась мне гораздо вкуснее. Как-то взяв завернутую в пеленки Галю, мы пошли в гости к

бабушке Анне. Угостившись морковью и наигравшись с медным ковшом, я стал ныть и проситься домой.

- Слушай! - обратилась ко мне бабушка, лукаво улыбаясь.



Долинина
Мария Кирилловна

- Давай сделаем обмен! Я тебе подарю медный ковш и грядку моркови, а вы оставьте мне Галю. Ну зачем она вам, зеворотая? И добавив еще несколько аргументов, окончательно убедила меня в большой выгоде сделки.

Предвкушая, что я буду владельцем медного ковша и большой грядки моркови, я согласился!

Когда мы вышли во двор, мама начала вслух рассуждать:

- С одной стороны ты здорово выгадал! А с другой стороны? Вот она вырастет и будет всем говорить, что брат ее продал за какой-то медный ковш и грядку моркови!

И только тут до меня дошло, что меня здорово обманули! Какие мысли тогда крутились в моей детской голове -

я не знаю. То ли неравноценность сделки, то ли жалость к сестренке, но быстро развернувшись, я влетел в дом, и бросив ковш, со слезами на глазах закричал:

- На фиг мне ковш и морковь! Отдавай мою сестру!

Вошла мама и, успокоив меня, немного посмеялась надо мной. Конфликт был улажен, хотя впоследствии взрослые, вспоминая мою сделку, иногда подтрунивали надо мной.

Мог ли я тогда предполагать, что спустя 4 года, а точнее в мае 1956 года, мама, забрав нас с Галей, перейдет жить в дом бабушки Анны? Сын бабушки Василий, устроившись работать милиционером в Ташкенте, забрал ее к себе, и дом просто пустовал. Наш отец к тому времени окончательно ушел из семьи, жил и работал учителем в д. Петровка Быка. Мама незадолго до этого тяжело заболела туберкулезом легких. Она никогда не жаловалась на судьбу и, как могла, растила нас. Мы не были брошенными, не были голодными и можно только предположить, как ей, 26 летней женщине, приходилось трудно в те годы.... Нам досталась небольшая доля от деления хозяйства: корова, несколько овец да кое-какой

хозяйственный скarb. Приведу выдержку из акта разделения хозяйства семьи Растатуриных от 12 мая 1956 года.

Все хозяйство было оценено на сумму 18165 рублей. В списке имущества значились: дом, хлев, сарай, баня, корова, овцы, гуси, куры, пчелосемьи. И все это делилось на три части, по количеству членов семьи: Федора Евлампиевна с двумя сыновьями (Василий и Александр); Иван Федорович с женой Марией и двумя детьми; и Николай Федорович с женой и двумя детьми. Мамина доля составила сумму в 6604 рубля, куда вошли: корова, 5 пчелосемей, овцы - 2, ягнята - 3, гуси - 2, гусенята - 6, утки - 1, куры - 4. Прочий хозяйственный скarb был столь незначительным, что его просто не делили. Этот пример я привел, чтобы показать, какими были личные хозяйства и каким нелегким был уклад жизни сельчан. А теперь представьте, каково это жить в деревне одинокой больной женщине с двумя детьми? Сено скотине заготовить надо, дрова - надо, огород посадить и убрать - надо! Помнится, были зимние дни, когда мама брала меня и мы шли разбирать заброшенный колхозный плетень, а потом на санках везли полугнилые ветки, чтобы топить печь! А в одну из зим пришлось снимать старую солому с брошенного сарая, чтобы кормить корову! Припудрив ее мукой, добавив клочок сена, кормили корову – кормилицу нашу! И в этой ситуации мама не теряла самообладания и даже шутила по этому поводу:

- Надо бы корове зеленые очки одеть, чтобы она солому принимала за свежую траву.

Так прожили мы в доме бабушки Анны два года. Может быть жили и еще, если бы не случилась беда.

Ранним утром, на исходе зимы 1958 года, у мамы открылось сильное легочное кровотечение. Каково было нам детям видеть это! Сказать, что мы сильно испугались, значит, ничего не сказать, мы были просто в шоке. Галя, сидя на печки, истошно орала:

- Ой мамочка, только не умирай, ой мамочка, не умирай!

А я, накинув фуфайку и шапку, прыгнул в валенки и помчался в Левашовку к деду, который, сообразив что к чему, быстро побежал запрягать лошадь, чтобы везти маму в больницу. Не останавливаясь, я помчался на другой конец деревни за медсестрой. Надо отдать должное медсестре (к сожалению, не помню как ее звали), быстро прибежав, она оказала первую помощь. Приехал и дед. Собрав маму, он отвез ее в больницу в Муслюмово. И только тут я ощутил, что все это время бегал в сатиновых штанишках и валенках на босую ногу... И это в 20 -ти градусный мороз!

Мама пролежала в больнице недели две. Благодаря сильному характеру и оптимизму, впоследствии она сумела полностью излечиться от туберкулеза, поработать на предприятии и выйти на пенсию. Но это было значительно позже.

ВЕСЕННИЕ ЗАБАВЫ

Красоту русской земли трудно описать, ее надо видеть, ее надо ощутить! Деревенская жизнь особенная, несуетливая, даже консервативная. Наверное это из-за очень медленного прихода цивилизации в деревенский быт. Мне не пришлось носить лапти – прошло лаптежное ремесло, но побегать босиком по лугам посчастливилось! С приходом тепла зеленели лужайки, звонко пели птицы, вылезали из нор суслики и свистом извещали округу о своем присутствии, галдели грачи на тополях. Ну как можно было усидеть в такую пору дома! Когда зародилась вражда между сусликом и человеком? Наверное в одно время с решением собирать колоски в поле после уборки урожая, кому - то пришла в голову мысль, что суслики слишком много заготавливают на зиму зерна. Воодушевленные идеями, что суслик злостный враг зерновых культур мы, мальчишки, отправлялись на луга ловить сусликов. Ловили проволочными петлями, если близко от норы была вода – заливали водой. Особым шиком считалось - вытащить суслика руками из неглубокой норы! Случалось, что суслик сползал в нору задом, и попытка ухватить суслика за задние лапки заканчивалась плачевно уже для ловца. Рука попадала под нос суслику, а он уж не упускал возможности прокусить палец своему обидчику. Не знаю, какой вклад мы сделали в повышение урожайности зерновых, но впоследствии я узнал, что не такой уж злостный губитель зерна этот самый суслик. Что большую часть зимы он спит, а корм ему нужен только весной для кормления растущего поколения. И запасал он на зиму совсем немного зерна. Сейчас, встречая суслика, я умиленно смотрю на этого зверька и чувствую огромную вину перед всем сусликовым сообществом...

Запах конопли – запах моего детства. Застал я и приспособления для плетения канатов из конопляных волокон. Как только конопля вырастала выше нас, мы играли в зарослях. А какими вкусными были конопляные лепешки! Конопляное зерно сушили в печах зерносушилки, мы и туда забирались, чтобы поиграть, особенно в прохладную погоду.

ПРИШЛЫЕ ЛЮДИ

Новая Егорьевка жила очень дружно. Люди помогали друг другу как могли. Было ощущение, что это одна огромная семья, живущая под одной крышей с названием ДЕРЕВНЯ. Сам за себя говорит тот факт, что при Сталине из деревни никого не репрессировали, и поэтому у жителей было к нему очень уважительное отношение. Помнится, у деда Кирилла хранились альбомы с фотографиями Сталина, руководителей партии, а также военного парада в Москве. Вот только не сохранились они до нашего времени, и судьба их неизвестна. Скорее всего их сожгли после разоблачения культа личности Сталина. Был в деревне и магазин, конечно не универсам в сегодняшнем понимании, и название он имел скромное – СЕЛЬМАГ. В нем продавали и гвозди, и керосин, и селедку. Не обходилось и без мануфактуры, конфет и пряников. Построили его после войны из самана. В средней части строения был сам сельмаг, а с двух сторон были небольшие складские пристройки. Со временем с четырех сторон ему сделали подпорки из бутового камня, чтобы «не ровен час» не упал. В середине 50 годов прошлого века, так уж сложилось, что в деревне не нашлось продавца (а может не хотели брать на себя ответственное дело). С чьей – то подачи присылают в деревню продавца Галину с мужем. Ни фамилии их, ни имени мужа история не сохранила, да и не надо помнить таких людей. Своего дома в деревне у них не было, и они поселились в одном из пристроев при сельмаге. Напротив сельмага через дорогу стоял деревянный клуб, а рядом стоял пятистенный деревянный дом. В одной половине был медпункт, а во второй - библиотека, или, как она тогда называлась, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ. Ближе к осени в один из годов в магазине решили сделать ремонт. При этом библиотеку перевели в клуб, а магазин перевели вместо библиотеки. Однажды темной осенней ночью, когда деревня спала глубоким сном, с криком "Пожар! Пожар!" по улице бежала почтальон и стучала в окна. Дед Кирилл быстро оделся и побежал на пожар, а нас из дома не выпустили, но по зареву пожара и сполохам пламени было видно, что очень сильно горит магазин. Как потом говорили, что из медпункта успели вынести все, вплоть до клизмы, а из магазина ничего не удалось спасти. Строение сгорело полностью. Утром по дороге в школу мы с грустью смотрели на пепелище, где всю работу делали следователи. По деревне поползли различные слухи: от поджога с грабежом до самовозгорания от печи или выпавшего из нее угля. И слухи эти были недалеки от истины.

Одно было очевидно сразу, что загорелось в магазине. К вечеру следователи уехали, забрав с собой продавца для снятия показаний.

- Голову оторвал бы тому, кто это сделал, – говорил муж Галины, встречаясь с мужиками на улице. А через день приехала милиция, пригласила понятых и мужа этой самой продавщицы, провела обыск в комнате, где они проживали. Результат превзошел все ожидания: за печью был вскрыт тайник, из которого извлекли одежду, отрезки материи, а под обшивкой потолка были найдены несколько наручных часов, деньги и прочие ценности. Я был не прав, сказав, что в магазине сгорело. Благодаря «предприимчивости» ушедшего продавца, часть товара была спасена, а «предприниматели» сели в тюрьму на 17 и 18 лет соответственно. Готовили они свое злодеяние основательно. Заранее припрятав все самое ценное, перед закрытием магазина к окну поставили ящик со спичками, и, облив все керосином, спокойно ушли домой. Ночью, дождавшись, когда в клубе закончится веселье, а охранник отлучится до дому попить чаю, мужу оставалось подойти и бросить небольшой факелок через оконную раму с заранее выставленным стеклом. Так бесславно закончилась трудовая деятельность этих пришлых людишек...

ЛАМПОЧКА ИЛЬИЧА

Первая попытка провести по деревне электричество была в конце 50-х годов. Поставили опоры, провели провода, в небольшом деревянном домишке поставили генератор с приводом от мазутного двигателя, в простонародье названном «Нефтянка». Некоторое время электроэнергию все же подавали часа на 2-3. Сложность была в одном. Чтобы запустить этот двигатель, необходимо было в кузнице разогреть стальной шар, поставить его в седло, закрыть крышку и начинать раскручивать маховик. Летом еще получалось тащить раскаленный шар метров 100-150, чтобы он не успевал остыть. А зимой это было просто наказание. Промучившись таким образом какое-то время, эту затею просто бросили. А бесхозная станция стала достоянием ребятни. Пацаны спиливали медные трубки на «пугачи» и «поджиги». Не обошла эта забава и меня. Смастерив очередной «пугач», я, ученик 3 класса, ждал удобного момента для испытания. Ранней весной, когда Минькин дол катил вешние воды в речку Баланнинку, а мама ушла в магазин, я приступил к испытанию своего изделия. Искрошив головок 50 спичек, вставил гвоздь, натянул

резинку... Выстрел получился оглушительный, но резкая боль пронзила кисть правой руки. Оказалось, ствол моего изделия разорвало, и хорошо, что повредило руку, а не глаза или голову. Целый месяц лечили мою руку, и это стало хорошим уроком для меня и отбило всякую охоту делать подобные «игрушки». А на память остался шрам на руке.

Вторая попытка дать электроэнергию в деревню была более удачной. Подтянули центральную линию, поставили трансформатор, и осенью 1965 года деревня была обеспечена стабильным электричеством. Ушла в забвение керосиновая лампа, кинопередвижка приезжала уже без громоздкого бензинового генератора. Стали появляться радиоприемники и радиолы, работающие от сети. Даже была попытка телевизионного приема. Алексей Долинин купил комбинированный телерадиоприемник «Беларусь», долго мастерили мачту из деревянных жердей, но удаленность единственного в то время ретранслятора в Лениногорске не позволила получать нормальное изображение. Хотя звук был более-менее понятным, а вот изображение напоминало движение теней за запотевшим стеклом. Таким образом основными источниками информации в деревне оставались радио, газеты, а наивысшим доступным для деревни искусством оставалось кино, которого все ждали с нетерпением. Киномехаником в то время стал Габбас, по прозвищу Шарра-барра, которое приклеилось к нему после одного случая. Однажды вез он, как обычно, кино вдоль деревни к клубу, и кто-то спросил его:

- Какое кино, Габбас?

- Да так шарра-барра: «Хррущев в Амеррике!». Говорил он, картавя букву "Р", и эта фраза была очень смешной. Но люди понимали, что кино не очень интересное о пребывании Н.С. Хрущева в Америке. Вот после этого и приклеилось к нему это прозвище.

НАШ ДЯДЯ МИША



Костин
Михаил Иванович.
Фото военных лет

В нашей семье он появился, когда я учился в 7 классе и жил у отца в с. Соколка Бугульминского района. Мама познакомилась с ним в санатории в Бугульме. А звали его Михаил Иванович Костин. Родом он был из с.Клявлино Куйбышевской области (ныне Самарской). Был он очень скромным человеком, работающим. Про таких говорят «мастер на все руки». Очень умело столярничал, мог сложить печь; многие в деревне обращались к нему за помощью, долго помнили тепло в доме от сложенной им печи или качественно сделанных оконных рам. За какое бы дело он не брался, все у него

получалось. Собрать ли старый мотоцикл, отремонтировать пол в клубе, в школе. Поработал он и кладовщиком в совхозе, одновременно успевал возить почту из района. Приезжая на лето, я становился у него помощником. За одно лето он из старого колхозного амбара построил небольшой домишко, где и прожили они с моей мамой почти 8 лет, пока не стала исчезать деревня.

Старенький домик, соломой покрытый,
Шторы белые видно в окне,
Рядом с сиренью клен старый стоит,
Все это с детства помнится мне.

Русская печь посередине побеленная,
Крашеный пол и цветы на окне.
Те же обои на стенах зеленые,
И балалайка висит на стене.

Годы прошли и молодость с ними,
Словно течение быстрой реки.
Вы были вчера еще молодыми,
Ну а сегодня уже старики

В 1969 году я получил квартиру по месту своей работы в г. Елабуга, куда и перевез их в январе 1970 года. А был он еще и участник Великой отечественной войны, награжден двумя орденами: Орденом Славы и Орденом Красной звезды! Спустя много лет я, держа в руках его потускневшие от времени награды, задавался вопросом: - За какие подвиги ему дали эти награды? И только благодаря сохранившемуся архиву и интернету я смог получить в руки копии наградных листов красноармейца – сапера Костина М.И. Вчитываешься в сухие строки армейского языка, - холодок пробегает по спине от того, в каких условиях приходилось действовать солдатам войны! Кажется, заглядываешь на 70 лет назад. Не буду описывать сути заслуг и подвига, а приведу копии документов, и пусть читатель сам прочувствует это!

Наградной лист

1. Фамилия, имя и отчество **Костин Михаил Иванович**
 2. Звание **Красноармеец** 3. Должность, часть **Сапер**
202 Отдельного Саперного бат-на 165 ескв
Представляется к Ордену "Слава II ст."
 4. Год рождения **1925г.** 5. Национальность **русский** 6. Партийность **чл. ВКП(б)**
 7. Участие в Гражданской войне и последующих боевых действиях по защите СССР и Отечественной войне (где, когда) **1 Белорусский фр с 20.09.41г.**
 8. Имеет ли ранения и контузы в Отечественной войне **Не имеет**
 9. С какого времени в Красной Армии **с 1.01.42г.** 10. Каким РВК привлан **Владимирский РВК, Кузьминской обл.**
 11. Чем ранее награжден (за какие отличия) **Не награждался**
 12. Постоянный действительный адрес **представляется к награждению и адрес его семьи.**

Конкретное, краткое изложение личного боевого подвига

Пятью дня до наступления красноармеец Костин находился на переднем крае в разведке. Он точно доносил командование о применении заграждений противника. К концу Костину в ночь на 10.10.42г. было приказано: сделать проход в проволочном заграждении против-ка и пропустить через него Заграждение состояло из уланского проволочного забора и сети на низких колышках. В наступлении темнотой Сапер Костин, зная маневры врага на этом участке, выполнил проволочное против-ка и под огнем врага за 40 минут сделал проходы шириной 8 м. После отбоя отхода наша пехота через проходы смело прошла вперед в траншею против-ка, выбила его с рубежа и продвигалась вперед. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении заданий в боях с врагами, красноармеец Костин вполне достоин правительственной награды Ордена "Слава II ст."

№ 0111
 14 октября 1942г.
 Командир 165 ескв
 Копитан
 М.Семонов

Был тяжело ранен - снайперская пуля прошла с правой стороны груди навывлет. От этого ранения он так и не смог окончательно вылечиться и в 1975 году умер в возрасте 49 лет. Так закончилась короткая жизнь рядового труженика войны и мирной жизни Костина Михаила Ивановича. Вечная ему память!

Далеко в прошлое ушли школьные годы, позади остались деревенские балалаечные посиделки, детские игры и забавы.

Приезжаю однажды в Егорьевку, а Егорьевки нет.

Около ста лет прожила деревушка. В конце шестидесятых годов с лица земли исчезла. Лишь по нахально растущей крапиве можно было определить места некогда стоявших домов. А по одиноко стоящим деревьям можно определить места нахождения объектов жизнедеятельности бывшей деревни.

Там, где была деревня, где в её округе на лугах колыхались сивые гривы ковылей, ветер волновал густые травы, где шмыгали стаи куропаток, свистели суслики, рыли норы барсуки – там всё перепаханно. В сухие дни ветер поднимал унылую чёрную пыль.

Помню домик стоял на пригорке

У высокого тополя в тени,

Здесь встречали мы ясные зори,

Вспоминали прошедшие дни.

Как ходили мы в лес за грибами

Собирали малину в саду,

Как варила варенье нам мама,

Как купались в любимом пруду.

Под пригорком протекала речка,

А над речкою били ключи.

Ранним утром дымились печки,

В тополях галдели грачи

Среди широких безмолвных полей заброшенным островком затерялось деревенское кладбище. Это всё, что осталось от вещественных свидетельств когда-то ярко бушевавшей здесь жизни.

Но без соседства с деревней даже пристанище вечного покоя родных и односельчан выглядит противоестественным и сиротливым. Последние сохранившиеся надписи на крестах закрываются бурьяном, готовые вот-вот уйти за горизонт человеческой памяти.

Лежат там дед Игнат с бабкой Юней, брат Санечка, дядя Семён с тётёй Машей, тётя Катя, дядя Андрей Храмов, дед Фёдор Растатурин с Федорой Евлампиевной, Николай Ефимович, Павел Михайлович... Всех разве перечислишь?

Увидел я холодную пустоту на месте тёплой соломенной деревушки и впервые в своей жизни понял, как страшно много потеряло наше поколение.

Понял, но не нашёл ясного ответа на вопрос: в какую вечность канула моя маленькая Родина, страна моего детства?

А родник на колхозном огороде пересох. Исчезновение его связывают со скважиной, которую недалеко пробурили нефтяники.

Пусть станут памятью одной из тысяч пропавших деревень мои страницы. Да останется надежда, что воду родниковую мы пили не зря.

Начали колхозы укрупняться,
Жизнь подчеркнута властной рукой,
И в деревне не стали нуждаться,
И деревня ушла на покой.
Нет деревни, распахано поле
И околицу уж не узнать,
Такова деревенская доля,
А когда то была благодать.

* * *

Часто навещаю урочище бывшей деревни и только по отдельным приметам определяю, что где было в бывшей деревне, и часто вспоминается стихотворение И. Сурикова «Вот моя деревня», но только в другой интерпретации:

Здесь была деревня,
Здесь был дом родной.
Здесь катался в санках
Я с горы крутой.
Здесь ловил я рыбу
И в пруду купался,
Лазил по деревьям
С пацанами дрался.
Весело текли вы детские года!
Вас не омрачали горе и беда.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	2
Откуда есть пошёл Иван Долинин	3
Говорить и материться научился одновременно	7
Начало сороковых	10
Родники	16
«Красный путь»	24
Зайцы и волки	33
Горки	35
Огонь войны	36
Воскресение Христово	38
С кем поведёшься	40
Мишкины проделки	44
Септическая	47
Гришкина стрела	48
Первый урок	52
Друзья-одноклассники	55
Балтаевские балалаечники	57
Горькая булочка	61
Утро победы	64
Самолёт прилетел	66
Посиделки	67
Прозвища	69
Конопляное лето	71
«На кино!»	75
Граната	77
Жених	78
Лагерь	80
«Вот моя невеста!»	84
Ходячие лозунги. Буденновка	85
Незаживающие шишки	87
Бражники	90
Самодеятельность	95
Колхозные работы	99
Биктимир	102
Тётя Шура	105
Солёная голова	107

Дед и баба Котковы	112
Гроза	113
Гармонь	116
Отец	119
Кизяки	130
Сенокос	132
Сабантуй	138
Клуб	143
Шурка Ухов	144
Братья Бычковы	149
Учителя	157
И растворился класс в народе	163
Десятое испытание	167
Истоки рода Растатуриных	172
Рыбалка	183
Пчелы	185
Труд познается с детства	186
Весенние забавы	189
Пришлые люди	190
Лампочка Ильича	191
Наш дядя Миша	193
Вспоминая прошлое	197